

ISSN 2221-9331



Литературно-художественный журнал
Харьковского отделения Союза писателей России

Том 8-9
2011

ХАРЬКОВ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Ганичев В.Н. – председатель Правления Союза писателей России, член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель главы Всемирного русского народного собора, вице-президент Международной славянской академии, доктор исторических наук, профессор.

Котькало С.И. – сопредседатель Союза писателей России и Духовно-просветительского центра имени святого праведного Феодора Ушакова. Член бюро Президиума Всемирного русского народного собора.

Скворцов К.В. – секретарь правления Союза писателей России, действительный член Петровской академии наук и искусств.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Председатель – А.Г. Романовский

Главный редактор – Л.И. Мачулин

Отдел прозы – И.Н. Глебова

Отдел поэзии – А.М. Мирошниченко

Редакция не ведёт полемику на страницах издания.
Переписка с читателями по усмотрению редакции.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Адрес для писем: а/я 9127, Харьков, 61057, Украина.

e-mail: editor01@list.ru
тел./факс +38 (057) 700-40-25

ПРОЗА

Василий ОМЕЛЬЧЕНКО

ЛЕГКИЙ ПАРЕНЬ

1

Комната, в которой Загоскин доживал свою командировочную неделю, была маленькая, узкая, пропахшая казенщиной и одиночеством — обыкновенный одинарный номер районной гостиницы.

Комната казалась маленькой и потому, что хозяин ее был сложения солидного: два шага делает — и вся комната. Незнакомые принимают его за большого начальника, но вот штука: все замечают и обращают внимание на его высокий рост и внушительное телосложение, а сам Загоскин не чувствовал себя большим. Быть может, потому что, к удивлению других, голос у него не вязался с его солидной богатырской внешностью — тонкий, как у школьника. Не чувствовал себя большим, наверно, и потому, что должности был не высокой — инженер одного НИИ, временами еще подрабатывает чтением лекций — в обществе «Знание» у него знакомые.

Вот и сегодня ему предстоит читать лекцию в одном дальнем селе, из которого уже два часа назад вышла машина. Лекции Загоскин знал почти наизусть и когда читал их, мог думать о чем угодно, и единственное, чего боялся — это рассказать слушателям о том, о чем уже им говорил.

Вообще-то по профессии он экономист. Но экономистов сейчас пруд пруди, как тех же юристов... Все хотят руководить, деньги считать, проверять и судить, но никто не хочет что-то производить... Вот и он — лекции читает, поучает как надо жить. Тема, конечно, актуальная — пенсионная реформа... Людям нужно популярно объяснить, что это только на первый взгляд кажется, что она касается только пожилых, на самом деле она касается всех... в том числе и молодежи.

Рассказывать одно и то же Загоскину порядком надоело. Но другой более подходящей работы просто нет. Предложили однажды налоговым инспектором. Немного поработал. Но в народе эту категорию людей, мягко говоря, не весьма уважают. Не уважают за то, что почти все налоговики не чураются взяток. Мысленно оправдывался: а кто сейчас не дает и не берет... когда

лапа в меду, как ее не облизать... Себя, правда, он не считал мздоимцем... так, мол, по мелочам можно что-то и взять, как подарок... Из налоговой службы, конечно же, ушел. Но не потому, что взятки брал — боялся за решетку угодить.

Была суббота и хотелось домой. Глядя в мокрое окно, за которым сеял мелкий дождь, Загоскин поймал себя на мысли, что не очень-то и расстроится, если не придет машина, мало ли чего... Он не расстраивался и тогда, когда на лекции народ не собирался. Напустит на себя хмурость, неудовольствие, промокнет платком двойной свой подбородок, обмахнет лоснящийся загривок, вздохнет сокрушенно, а в душе возликует: слава богу, не читать, а путевочку-то все равно отметят — куда денутся... И если бы сейчас зашел товарищ и сообщил, что машины не будет, а путевочку отметят — больше ничего Загоскину и не надо было б — за папочку и на автобус...

Приятные мысли его прервал стук в дверь и тут же на пороге появился парень в расстегнутой потертой кожанке и клетчатой рубаше, с рябушками на носу и солнечным взглядом васильковых глаз.

— Здравия желаю! Карета подана! — бойко сообщил он.

Раз подана — надо ехать...

Загоскин умел настраиваться на работу, подавил в себе расслабляющее волю желание улизнуть от дела, за которое ему хоть и немного, но платили, деланно удовлетворенно улыбнулся, протянул парню руку:

— Владислав Петрович!

— Ваня! — по-свойски сказал тот и тоже улыбнулся, искренне радуясь знакомству с новым человеком, приехавшим из области, радуясь и тому, что именно он, Иван, доставит его в свое село, радуясь и возможности поговорить с заезжим человеком, тем более, что путь до села не близок.

О расстоянии подумал и Загоскин и тут же поинтересовался, сколько до их хозяйства.

— Пятьдесят четыре кмэ.

— Ого! — не сдержал удивления Загоскин. — Это что же — самое дальнее в районе село?

— Самое дальнее. Поэтому к нам редко кто и приезжает.

Через минуту они вышли из гостиницы. Дождь поутих, и над мокрыми крышами домов висела праздничная радуга. И шофер улыбался радужно.

«Веселый...» — почему-то с непонятной легкой завистью подумал Загоскин. У него всегда чуть-чуть сосало под ложечкой, когда он видел, как люди ни с того ни, с сего чему-

то улыбаются. По натуре он не был оптимистом, считал, что жизнь — трагедия, и чем дольше жил, тем меньше находил в ней смысла и радости. Песни он больше любил грустные. Разговоры — умные и печальные.

«Молодой — вот и веселый», — подытожил свои мысли о парне Загоскин. Оглядел блестящую от только что прошедшего дождя площадь, на которой стояло несколько машин, и попытался определить, какая же пришла за ним. Наверно, вон та, удовлетворенно подумал он, глядя на черную «волгу» в серебряных капельках дождя. И уже направился было к ней, но шофер потянул за рукав в другую сторону:

— Есть у нас и такие машины и даже круче, но... — он чему — то улыбнулся, — наша вон там, за углом.

За углом стоял бензовоз, похожий на старую кобылку.

— Извините, что немного задержался — комбайны заправлял... — простодушно развел руками шофер.

Отверткой открыл дверцу, провел рукой по сиденью, что-то сметая с него.

— Вы не смотрите, что она у меня не шибко современная, — садясь в кабину и мягко захлопывая дверцу, сказал он, — бегают она хорошо — двигатель недавно новый поставил!

И опять улыбнулся. Наверно, тому, что машина бегают хорошо. Извлек откуда-то свежий комок ветоши, больше по привычке, чем по надобности, обмахнул ею панель с немногочисленными приборами, включил зажигание — поехали.

Загоскин, настраиваясь на долгий путь, оглядел кабину. Внешне машина выглядела невзрачно, а в кабине было чисто, аккуратно, руль оплетен разноцветным проводом, рукоятки рычагов отделаны прозрачным плексиглазом с просвечивающимися затейливыми рисунками. Кабина была щедро оклеена загадочно улыбающимися красавицами, а перед лобовым стеклом, как и положено, болталась, извиваясь и подпрыгивая, какая-то штуквинка, похожая на куклу — во всем чувствовалось неравнодушное отношение хозяина к своей машине. И Загоскину на миг показалось, что шофер ощущает себя в этой тесной кабине уютней, чем он, Загоскин, чувствовал себя в своем тесном гостиничном номере. Это было видно по выражению лица шофера. Парень сиял, как новая монета. Загоскин даже подумал не без гордости: а иностранцы считают украинцев нацией мрачной, угрюмой.

Иван относился к той категории сельских молодых людей, с которыми, познакомившись, обычно сразу переходят на

«ты».

«Недалекий парнишка...» — сочувственно подумал Загоскин и еще подумал, что «далекие» в селе не остаются. В глубине души себя он относил к «далеким».

По райцентру ехали молча. Только шофер один раз кому-то приветливо помахал рукой и крикнул в окно:

— Приезжайте в воскресенье!

И улыбнулся.

— Учились вместе, — с удовольствием пояснил он. — Сейчас в газете работает. Хор-роший парень!

Загоскин согласно кивнул, будто знал этого хорошего парня и тоже улыбнулся, одним уголком рта. Эта его скептическая улыбка — он умел все ставить под сомнение — не ускользнула от внимания шофера, который сразу стал строже, нахмурился и как-то по-мальчишески, с легким задором повторил:

— Он на самом деле очень хороший человек, столько сделал для района... благодаря его статьям, газ теперь и в наше село проводят, да и вообще...

— Да я, Ваня, ничего и не имею против твоего однокашника, — сказал Загоскин и, расстегивая пуговицу под галстуком, постарался изобразить добродушную улыбку.

— Вам тепло... мотор у меня жаркий, счас проветрим... — шофер чем-то щелкнул, и на Загоскина приятно повеяло степным воздухом.

Откинувшись на спинку сиденья и сложив руки на папке, Загоскин смотрел на проплывающие мимо сжатые поля пшеницы, на мелькавшие вдоль дороги столбы с провисшими проводами, на сонно бредущих по лугу коров, и настроение у него стало ровней, на душе спокойней, умиротворенней. Так было у него всегда, когда он попадал на природу.

— Хорошо? — спросил шофер, показывая взглядом в одну, потом в другую сторону, спросил таким тоном, будто все, на что показал, было его собственностью.

— М-да-а, хорошо... — поддержал разговор Загоскин и подумал: вроде бы недалеко парнишка, а как понимает меня: не успел я сказать, что жарковато, как он тут же прореагировал на это. И словно в подтверждение его мыслей, шофер сказал, неспешно растягивая слова — к неспешности располагала дальняя дорога и простор:

— Во-от при-е-едешь в райцентр... бегаешь, мечешься, всегда кого-то нужного нет, всегда чего-то нужного не достанешь, то бумага не та, то печать не такая, то перерыв,

то выходной, то санитарный день, то переучет — нанервничаешься-назлишься... а останется райцентр позади, поплывут поля — луга, спокойные, родные и на душе становится тоже спокойней и так хорошо-о, что и не рассказать...

— Да-а, — отозвался Загоскин.

Примерно об этом он тоже только что думал, что природа успокаивает человека, что на природе хорошо. Вдруг вспомнилось детство. Утрами сизая от росы возле хаты трава — мурава... Пробежишь по ней босиком — сердце от восторга заходится.

— А вы, я вижу, в селе родились, — сказал шофер и обнажил в лучезарной улыбке, ровные, живого бойкого цвета зубы.

— Откуда же ты видишь? — поинтересовался изумленный его пронизательностью Загоскин и слегка нахмурился: он не любил, когда угадывали его сельское происхождение. Сам не понимал почему, всю жизнь он тщательно скрывал это и к своим сорока семи годам давно уже чувствовал себя коренным горожанином и, вот, поди, этот конопатенький парнишка вдруг раздел его донага.

— Откуда? А по тому, как вы на поля смотрите...

Загоскин чуть не спросил: а как я смотрю на поля, но не спросил, счел, что разговор такого порядка ниже его лекторского достоинства.

А догадка шофера о сельских корнях Загоскина, как он мысленно отметил, имела почву... Хотя он, Загоскин, давным — давно считал себя сугубо городским жителем, что-то сельское в нем, наверное, осталось... Как-то на работе он услышал задевшую его самолюбие фразу: «Мужика из деревни вытащить можно, а вот деревню из мужика — вряд ли вытащишь...» О ком это было сказано, Загоскин не понял, — но в глубине души понимал, что речь и о таких, как он...

Развивать беседу на не очень приятную тему Загоскину не хотелось.

— Хорошие поля... — отвел он разговор в сторону.

— Хозяин у нас хороший!..

И шофер снова улыбнулся. Улыбка у него по-детски искренняя, простодушная и чуть озорная, и было в ней что-то такое, что Загоскин, мельком взглянул на него, с легким осуждением и долей зависти подумал: девки его лю-бят-ят...

И вспомнил свою молодость. Отец был колхозным бухгалтером, уважаемым в селе человеком. Ему, Загоскину-младшему, тоже хотелось быть уважаемым, и он изо всех сил старался в школе, хорошо учился, не пропускал уроков, был

старостой в классе, лучшим политинформатором. Школу закончил с похвальной грамотой и первым из класса уехал в город. В институт поступил. И в институте был на виду, фотография его все четыре года висела на Доске почета. Его всегда ставили в пример другим, он гордился этим, но в глубине души завидовал тем, кого ругали за прогулы и неуспеваемость. Их ругали, а они жили, как ему казалось, хоть и неправильно, но веселей его. И, как ни странно, девчонки больше любили тех, кто не красовался на Доске почета, а кого на собраниях чехвостили. И вот что еще более странно: один из самых нерадивых из его группы, Мишка Болотин, которого дважды чуть не отчислили за прогулы, теперь в области большой начальник... Умеют некоторые... И женился Загоскин вроде удачно, на городской, из хорошей семьи. В общем-то и должность у него неплохая – старший научный сотрудник. И зарплата пусть небольшая, но пока стабильная. Плюс эти лекции... И своя квартира есть – родители жены расщедрились. А вот улыбаться так, как этот шофер, он не может... Холостяк, наверно, парнишка, вот и улыбается...

– Холостяк? – Загоскин пытался изобразить на своем лице улыбку мужчины, хорошо знающего женщин.

– Чего ж холостяк – жена-ат!

– Дети есть? – с несколько большим расположением спросил Загоскин, тут же вспомнив и свою дочку, студентку университета.

– А как же – четверо: Люба, Настенька, Мишутка и Алешка...

Каждое имя он произносил с особой интонацией, видно, присущей возрасту и характеру детей. Люба, как понял Загоскин, была старшей и самой серьезной, Настенька – поменьше и баловница, Мишутка и Алешка – совсем малыши и, возможно, близнятки. Называл имена детей Иван так тепло и любовно, словно каждого из них погладил по головке.

– А у вас кто? – спросил в свою очередь.

– Дочка, Эльвира.

– А-а, – уважительно произнес водитель, и какое-то время они молчали, исчерпав тему разговора – вроде все выяснено.

Через минуту, правда, шофер опять улыбнулся, вроде бы ни с того ни с сего. Глянул на Загоскина и обозначил на щеке озорную ямочку. Эту улыбку Загоскин принял на свой счет: наверное, думает, что обскакал его с детьми, хоть и роста не богатырского, хоть и молод еще, а тут преуспел... Да,

конечно, дело это нехитрое, но... Что «но», Загоскин и сам не знал, но это «но» было, существовало. И, видимо, это «но» и поставило точку их разговору, во всяком случае, ему, Загоскину, говорить дальше было нечего: Эльвира... Только сейчас он и подумал, что на ней-то, на Эльвире, и кончается его род, Загоскиных, а если бы был еще сын... У них с женой даже разговора никогда не было, чтоб еще кого-то родить.

Загоскин краем глаза посмотрел на Ивана, попытался на миг представить его жену, наверно, толстушка-простушка какая-то, доярка или свинарка...

— А жена кем работает? — спросил.

— А кем в селе женщине работать — дояркой. — Иван помолчал, расплылся в горделивой улыбке. — Депутат она у меня!

Из толстушки-простушки в воображении Загоскина жена шофера Вани медленно, как в сказке, обратилась в стройную строгую красавицу, в новом синем пиджаке с депутатским значком на груди.

Наверное, очень любят друг друга, подумал Загоскин и вздохнул.

Вздох лектора шофер отнес к надоевшей езде по этой разбитой дороге, которая никогда в жизни не видала грейдера.

— По таким дорогам вам, наверно, редко приходится ездить...

— Не часто.

— Есть у нас хорошая дорога, только теперь мы не ездим по ней.

— Почему ж это?

— Еще при советах приписали нас к другому району, вот теперь и ездим в райцентр за полста километров, а раньше всего пятнадцать надо было ехать. Мне-то что, шоферу, крути баранку и когда-нибудь доползешь, а вот если в больницу кому надо срочно, аппендицит там или женщине рожать, а тут дождь... Не знаю, чем думали там, когда решали нас к другому району приписать, кому это надо?

Загоскин чувствовал, что должен ответить шоферу на этот вопрос, но ответа у Загоскина не было. И он чуть заметно пожал плечами. И с удовольствием перевел бы разговор на другую тему, но шофер, видно, про дорогу сказал не просто так, для разговора, — это у него болело. И он принялся подробно рассказывать, как раньше было хорошо, когда райцентр был рядом: и больница под боком, и райисполком, и сельхозтехника, и даже базарчик какой-то.

— Все о людях думают... — сказал шофер таким тоном,

который Загоскину не понравился. Помолчав, водитель высказал свое, видимо, больное: — Земля у нас такая родючая... столько чернозема,... а распорядиться землей мы никак не можем, не научились... Как и раньше, говорят, что нужен хозяин... ну разогнали колхозы — где хозяин? Все подсолнухами засадили, никто не думает о плодородии, лишь бы скорее карман набить, а там хоть трава не расти...не земля нас кормит, а нивка... А чтоб была нивка, технику бы нам получше... Заморская дорогая, а наша... все время ходи с ключом и молотком... Вот смотрите, есть у нас известные Генеральные конструкторы... ракет... самолетов... танков... а генерального конструктора комбайнов кто-нибудь знает? То-то и оно-то...

— Сейчас о селе стали больше думать, — заступился за власть Загоскин.

— Думают там много, да делают — кот наплакал...

На это Загоскин не нашел что сказать, и дальше долго ехали молча. Иван потому, что думал о неудобствах, связанных с припиской их к другому району и о проблемах села в республиканском масштабе... Загоскин молчал потому, что разделял законное возмущение шофера, но боли не ощущал и думал о том, чтобы скорее доехать, отчитаться — и домой.

Мимо так же проплывали мокрые поля с полегшей тут пшеницей, зелень посадок. Впереди, в низине, раскинулось село, и Загоскин подумал, что это уже то село, куда они едут, но шофер, угадав его мысли, поспешил пояснить:

— Проедем это село, потом уже и наше будет.

Чем дальше от райцентра, тем хуже дорога и тем глуше села. Обшарпанный клубик с голым щитом для афиш, старенькие магазины, одноэтажная школа, ручей-речушка с намощенными переходами из старых автомобильных скатов. А дома в основном все кирпичные, добротные, под шифером и железом.

— Я сюда в школу ходил, — не без удовольствия сообщил шофер — видно, хорошее это было у него время. И опять улыбнулся.

Загоскин завидовал людям, которые вот так искренно улыбались. «Весело живете...» — мысленно говорил он им с такой интонацией, словно весело жить — неприлично.

Улыбнулся шофер даже тогда, когда машина вдруг остановилась посреди лужи. Как ни трудился он, как ни старался, а новый двигатель, ревя свирепо и отчаянно, не мог сдвинуть машину с места. Вот тут-то Ваня и улыбнулся.

Загоскин, как человек интеллигентный, никогда не

спрашивал, с чего это вдруг кто-то вроде беспричинно так улыбается. Сейчас он тоже не собирался лезть в чужую душу, но уж больно неожиданна была улыбка шофера и неуместна: в гостиницу приехал с опозданием — стало быть, виноват, машина застряла, ревя ревет, может, тут до ночи куковать придется, а он себе улыбается — весело живет! Ишь ты, лектора из области посадил в грязь и улыбается... Конечно, не надо было спрашивать — почему, но вопрос у Загоскина вырвался сам по себе, как улыбка у шофера:

— Вы чему так счастливо улыбаетесь?

— Я? — изумился шофер и пожал плечами. — Домой еду — вот и улыбаюсь...

Включая снова задний ход, слегка толкнул локтем пассажира в бок, со скрежетом повернул рычаг в сторону и назад, газанул как следует, и машина, содрогаясь от натуги, в дыму и водяной пыли, выскочила-таки из колеи на сухое, назад, правда. Но еще через минуту шофер преодолел лужу с разгона, и «кобылка», облегченно чихнув, покатила дальше.

При переключении скоростей водитель нет-нет да и толкнет лектора в бок — кабинка все-таки тесновата. Загоскина раздражали эти в общем-то небольшие и случайные толчки. Мог бы и поосторожней, думал он. И, чтоб шофер не касался его своим острым локотком, Загоскин вплотную прижался к повизгивающей дверце. «Мешаю...» — подумалось ему.

И впервые пришло в голову, что, пожалуй, он многим мешает, как не удивительно, своими лекциями. Это, может, и парадоксально выглядит, но мешает... Иван заправлял комбайны — делал дело. И спешил, конечно, за ним, за лектором, может, кого-то и не заправил. Может, где-то еще нужен. Комбайнеры сейчас убирают хлеб, в такую сложную погоду.... Важное дело делают — хлеб убирают люди. А он к ним со своей лекцией. И председатель хозяйства, и сами механизаторы встретят его, Загоскина, нормально и лекцию прослушают, и дружно похлопают, хорошо накормят, проводят, скажут на прощанье обычное «приезжайте еще» — сельчане гостеприимны и деликатны... А уедет он, гость из области, и они облегченно вздохнут: слава богу, укатил лектор, можно теперь и хлеб убирать.

Так оно и было. Нормально встретили... правда, не сам председатель хозяйства, а его заместитель и библиотекарь... Душевно улыбались, крепко жали руку, сразу же отметили путевку и покормили, вкусно и сытно, собрали механизаторов на полевом стане, перед началом, правда, председатель успел Загоскину шепнуть на ухо: «Вы

покороче...». И это «вы покороче» не понравилось Загоскину, напомнило ему о том, что хотя он и из области, и с ним всюду считаются, но тут главный не он... и его, заезжего лектора, здесь лишь терпят. Напомнило о том, что он делает в страду, и что делают эти люди, собравшиеся ради него, утомленные, грязные, довольные больше не лекцией, а передышкой, без которой они могли бы и обойтись, так как передышка будет потом, зимой, а сейчас они готовы выложиться до предела, лишь бы быстрее и лучше убрать хлеб — это было написано на их лицах.

Загоскин читал лекцию, и несмотря на то, что он был одет чище и лучше других, стоял на возвышении, на бугорке, чтоб всех механизаторов было видно, и был он заметно крупнее и выше самых тут крупных и высоких, однако таковым он себя не ощущал среди этих людей с темными от масла руками и твердыми взглядами прищуренных от солнца глаз. Не он, а они тут были х о з я е в а м и, а он так, с боку припеку, а то и помеха.

Уложился Загоскин во время. И начальство было довольно, и механизаторы, что перекурили и что-то полезное послушали да посмотрели еще и на залетного горожанина.

2

Иванова «кобылка» уже фырчала. Загоскин, кивая провожавшим его, пообещал приехать еще когда-нибудь, втиснулся в кабину и, довольный, что «отстрелялся», поудобней устроился на сиденье: вытянул сколько позволяла кабина ноги, а руки с пальцами-сардельками положил на папку — она была старая, потертая, особенно по углам, и пальцы по привычке легли на углы, закрывая потертости.

Шофер уже выжал было сцепление, чтобы трогаться, но помедлил — к машине спешила молодая женщина с чем-то в руках.

— А вот и моя половинка бежит, Оксанка...

Неожиданно яркой красоты Оксана была в вышиванке, и принесла в кульке, видимо, только что сорванные сливы:

— На дорожку вам, чтоб не скучно было ехать!

— Спасибо, спасибо!.. — как-то слегка растерянно промолвил Загоскин, разглядывая супругу шофера. Отметил, что они чем-то похожи, Иван и Оксана, своей живой веселостью в глазах, что ли.

Когда отъехали, Загоскин поинтересовался:

— Сегодня что — какой-то праздник?

— Почему праздник?

— Да женушка ваша в вышиванке...

— А она всегда так ходит, когда не на работе... сама шьет, сама вышивает...

— Мо-ло-дец! — поощрительно-восторженно качнул головой Загоскин и, пожалуй, впервые за всю поездку в это село расплылся и сам в широкой, искренней улыбке.

И подумал о том, что когда увидел жену шофера-Вани, понял, что парень этот не такой уж и простачок-дурачок, каким сперва показался Загоскину — такие писанные красавицы за дурачков замуж не выходят: иссиня-черные, видно, что не крашенные волосы, слегка смугла, сияющие и какие-то пронзительно жгучие, тоже черные глаза, взгляда которых Загоскин почему-то не выдержал, а в голове вдруг вспомнилось давно забытая песня: «Ах эти черные глаза...»

А Иван мягко стронул машину с места, кому-то кивнул, кому-то подмигнул, кому-то помахал рукой и стал серьезней.

— Ну, — спросил, когда отъехали от села, — как вам у нас?

— Хорошо, — заученно сказал Загоскин, — очень хорошо.

— Хорошо... — повторил шофер таким тоном, как говорят: хорошо — не то слово...

— Люди у вас хорошие, — счел нужным добавить Загоскин.

Иван на эту его похвалу не обратил внимания — похвала была дежурной, откуда знать заезжему, какие тут люди... Обвел все округ таким таинственно-влюбленным взглядом, от которого почему-то у Загоскина запекло внутри.

— Хорошо-о... — едва слышно вразяжку повторил шофер, качнул головой, добавил негромко и мечтательно:

— А вот приедете весной...

Влюбленным взглядом снова повел вокруг насколько позволял обзор машинных стекол. Невольно и Загоскин туда-сюда посмотрел и в общем-то ничего такого не увидел: мокрые дома, изрытая колесами машин и гусеницами тракторов дорога, местами посыпанная зерном, вдоль дороги деревья с клочками соломы на мокрых ветвях да лужи с радужными пятнами масел.

Упругие, покрытые нежным матовым налетом сливы были необычайно вкусны. Казалось, он, Загоскин, никогда не ел таких вкусных слив. Нашарив ягоду покрупней, пальцами стирал слабый налет и, когда шофер смотрел в другую от него сторону, быстро отправлял ягоду в рот. Загоскин поймал себя на мысли, что ягоды ест как бы тайком, чтобы шофер не видел. Он понимал, что это глупо и смешно, тайком есть то, чем тебя же угощают. Но шофер почти не ел

слив, быть может, бросил в рот одну-другую и то ли забыл о них, то ли решил не отвлекаться от своего главного дела — руля и дороги.

А он, Загоскин, уже съел, пожалуй, добрую половину и то, что осталось, считал, его, шофера, порция. Но сливы были необычайно вкусны, и хотя Загоскин уже и сказал себе мысленно: хватит, так можно и все съесть, рука его нет-нет да и опускалась снова на сиденье, где между ним и шофером лежала в кульке еще солидная горка сочных и сладких, как персики, слив, каких он доселе никогда еще не пробовал. Это был, наверное, какой-то новый и редкий сорт.

Отправляя в рот очередную ягоду — опять не удержался от соблазна, Загоскин на миг встретился с взглядом шофера и почувствовал себя немного неловко, как чувствует человек, которого застали за несолидным для его положения делом. Улыбнулся умелой своей дежурной улыбкой, должной выражать все, что угодно, но только не то, что он сейчас испытывал. Вяло надавил зубами на сливу, будто кинул ее в рот от скуки и ему совсем ее не хочется есть, а она, до предела насыщенная соком, лопаясь, так брызнула соком, что он не успел прикрыть рта, и содержимое сливы стрельнуло в лобовое стекло. Шофер то ли не заметил этого, то ли сделал вид, что не заметил. Загоскин почувствовал себя еще более неловко, хотел пальцем вытереть кляксу на стекле, однако пальцем не стал вытирать, а достал чистый носовой платок и хотел уже убрать со стекла розовато-желтый каплеобразный подтек, как шофер, открыто и просто улыбаясь, сказал вдруг:

— Да что вы чистым платком... у меня ветоши полно...

Откуда-то достал пучок спутанных обрезков ниток, которые, кстати, были не грязнее платка Загоскина, и одним движением руки сделал стекло чистым.

«Утер мне нос», — подумал Загоскин, хотя понимал, что шофер ничего такого плохого ему не сделал. И все же чувствовал себя не так, как должен чувствовать себя человек его положения, человек, за которым, считай, на весь день закреплена машина, да и вообще... Что именно «вообще», Загоскин не знал — чувствовал нутром.

Чтобы отвлечься от смутного настроения, с деланной ленцой спросил:

— А что это у тебя за цацка? — глазами показал на висящее перед лобовым стеклом что-то похожее на маленькую куклу, которая на каждой колдобинке резво подпрыгивала, будто пританцовывала.

— А-а... — несколько загадочно и тепло произнес шофер,

качнул указательным пальцем игрушку. — Это — Галюся... — И пояснил охотно: — Водители кто что цепляют: обезьянок там разных, чертиков, ведьм, всякие китайские побрякушки, а это... — он еще раз качнул свой забавный амулет и простецки, но подчеркнуто уважительно произнес: — А это наша, родная украинская лялька-мотанка — Галюся! Жenuшка сделала, она у меня на все руки мастерица... Потом... это не просто игрушка — это оберег... — И почтительно добавил: — Такие штучки наши предки делали еще пять тысяч лет назад...

«Да-а? — чуть было не вырвалось у Загоскина, но он сдержал свое изумление и мысленно произнес: — Ишь ты...»

— А ты случайно в институте не учишься? — неожиданно поинтересовался Загоскин. В душе ему почему-то хотелось, чтоб не учился.

— Учусь, только не случайно, а, я бы сказал, планово — так в семье запланировали. Заочно, правда, учусь, но... работать надо — семья... — и чуть загадочно опять лучезарно улыбнулся: — Да и пополнения мы ждем, еще одного мужика!.. Катенька в положении, недавно были на УЗИ, там сказали — хлопчик будет! Жизнь идет вперед!

Шофер замолчал, видимо, рисуя в своем воображении своего будущего наследника. Замолчал и Загоскин. То ли потому, что не о чем уже было говорить, то ли просто не было настроения.

Дурное настроение у Загоскина — обычное явление. Он многим был недоволен в жизни: властью, которая платила ему мизерную зарплату, своей работой, которая не доставляла удовольствия, женой, которая не была настоящим другом. Наверное, еще и поэтому по натуре он был скорее пессимист, чем оптимист. Зная это, в душе оправдывался чьим-то изречением: пессимист — это хорошо информированный оптимист...

То, что в последнее время происходило с ним, всякому другому он точно смог бы объяснить — утрачен вкус к жизни. Ему давно уже все не нравится, все его раздражает. И коллеги по работе, которые живут почему-то веселее, чем он. И вечно недовольная жена. И дочка, которая никак не может устроить свою личную жизнь. И громкая музыка за стеной. И шарканье метлы дворника за окном. А потоки реклам по телевизору его просто бесили... Он, Загоскин, и телевизор не может смотреть как все нормальные люди: включил там любимый сериал или какой-нибудь концерт и смотри себе, наслаждайся, балдей... А он нет... Когда усаживается перед телевизором, ему, Загоскину, все не то.

Все те же новости: аварии, пожары, наводнения... все те же певцы... все те же политики... да еще тысячу раз в день про Тимошенко и Луценко, будто они — вся Украина? И он переключает и переключает каналы... А это беспрестанное переключение каналов, как он недавно узнал, оказывается — психическое отклонение... так называемый зиппинг... (словцо-то какое вьедливое!). И каналы теперь старается переключать реже...

Раздражало Загоскина даже приподнятое настроение шофера, его вроде бы ни с того, ни с сего возникающая улыбка. Сам он, Загоскин, не может вот так искренно, от души радоваться всему вокруг — жизни... С некоторых пор сам понимал, что утратил вкус к жизни... И, главное, не заметил, когда и как это произошло.

Чтобы уйти от своих мрачноватых мыслей, решил переключить разговор на другую тему, в которой, как считал, был дока.

— А ты, Ваня, политикой интересуешься? — и пытливо скопил глаз на водителя.

— Не-е... — качнул тот головой, — политикой пусть занимаются депутаты, а мы... свой работой и своим хозяйством.

— А как вам нынешняя власть?

Иван, подумав немного, неохотно произнес:

— Власть как власть... там, в верхах все за нее дерутся. А мы...

— Паны дерутся, а у мужиков чубы трещат, да?

— Оно так... Понимаете, они там дерутся за власть, то одни рулят, то другие... Спорят, судятся... а мы... а мы просто живем... И какая бы там власть ни была — мы на своей земле... жили, живем и будем жить. У нас все есть: и хлеб, и молочко, и мясо, и свои колеса... и детей есть на что учить...

Улыбнувшись, Иван пожал плечами: о чем, мол, тут можно еще говорить...

Загоскин кашлянул, кажется, не очень довольный ответом собеседника.

А шофер лишь снова лучезарно улыбнулся каким-то своим, похоже, светлым мыслям и прибавил скорость.

3

На подъезде к райцентру навстречу двигался, покачивая

боками, сияющий хромом джип-тойота. Поравнявшись, чуть сбавил скорость и приветливо посигналил. Иван ответил тем же.

— А это кто? — не удержался от любопытства Загоскин.

— Максим Васильевич, — уважительно пояснил шофер.

— Бывший председатель нашего колхоза, а теперь... как оно там называется... руководитель или председатель сельскохозяйственного предприятия... Мы — по-старому — председатель. Хор-роший человек и отличный хозяин! — И не без гордости добавил: — Наш, местный! Как говорится, где родился, там и пригодился!

Загоскин удовлетворенно кивнул и сглотнул непонятно отчего скопившуюся в горле слюну.

В глубине души царапнула мысль: если бы он, Загоскин, не уехал из своего родного села, мог бы тоже руководить большим, хорошим хозяйством, ездить не на стареньком чужом бензовозе, а на таком же сияющем хром джипе...

«Я же экономист с высшим образованием!» — мысленно сказал он кому-то и почувствовал себя так, будто кто-то его ни за что ни про что обидел.

Сливы были вкусные, но есть их перехотелось. Все вроде бы было как надо: и лекции прочел, и на вопросы ответил нормально, и вовремя домой едет, а вот настроение...

Почему-то недобро покосился на водителя и ощутил во рту металлический вкус. Быть может, у Загоскина была какая-то болезнь, о которой он не знал, но время от времени он ощущал этот неприятный и необычный вкус во рту, будто бы зубы все у него были из железа и язык тоже. Этот вкус у него появлялся в минуты волнения, сильного неудовольствия. Сейчас Загоскин поймал себя на неприятной мысли: сознавая, что он выше этого парня, простого шофера, шоферюги, вместе с тем он не чувствовал себя выше его, не чувствовал и все! Как он, внешне большой, не чувствовал себя таковым, большим. Сейчас Загоскину казалось, что это он простой шоферюга, а этот парень не из глубинки, до которой добираться надо полдня, а из области, да еще из какой-то солидной организации.

Надо было бы сидеть и молчать глубокомысленно, как и подобало бы гостю из области, но помимо воли вдруг заговорил, да еще не о том, о чем надо бы, если б уж говорить:

— А какой это сорт слив?

И в душе выругал себя за этот вопрос: подумает еще, что он, лектор, никогда не ел таких слив. Вообще-то Загоскин и в самом деле не ел, но надо ли это показывать.

— А это без сорта, — беспечно ответил шофер, — сто лет

они тут у нас растут, слива и слива.

У перекрестка на обочине стоял милицейский мотоцикл с коляской, а чуть поодаль, возле новенькой «Нивы» последней модели – его хозяин. Гроза шоферов, перепопаянный белыми ремнями, в белых крагах и заткнутым за голенище жезлом, отчитывал за что-то водителя с кислой физиономией.

Подъезжая к автоинспектору, Иван чуть притормозил и дробно постучал по черному пятаку сигнала – получилось что-то вроде краткой морзянки.

Милиционер обратил к нему свою строгую личность, но тут же расплылся в душевной улыбке, одну руку с блокнотом опустил «по швам», другая взметнулась к виску, в лице парадная преданность – казалось, мимо него проезжал не старенький бензовоз с шофером Ваней из самого дальнего села, а следовал на сияющем хромом автомобиле малоизвестной марки сам министр внутренних дел.

– Я вас приветствую! – в свою очередь, отдал ему честь Ваня.

Когда проехали, добавил, тепло улыбаясь:

– Коля. Хороший парень... Служили вместе. В погранвойсках...

Загоскин кивнул, искоса посмотрел на шофера: всех знает... все и все у него хорошие... Легкий парень!...

Потянулся было за очередной сливой, но брать не стал. Хватит, сказал он себе и жест свой закруглил поигрыванием пальцев по сиденью, рядом с оставшимися сливами. Думая о шофере, что он всех знает и все у него хорошие, Загоскин заметил, что всю дорогу придирается к шоферу: и то ему в нем не так, и это. Подумал и о том, что он уже становится почти таким же придирой, как и его, Загоскина, жена. И от этого ему стало не по себе. А может, и от чего-то другого, что в нем копилось всю дорогу.

– Вам в гостиницу? – спросил шофер.

– Да нет, мне бы прямо на автостанцию.

– Домой, значит?

– Домой.

Водитель снова улыбнулся своей солнечной улыбкой, которую вызвало у него это слово «домой», а Загоскину мягким толчком оно отдалось в виски и сжало их до боли, оттого что вспомнились слова жены: «живешь – и никакой радости...»

«Неблагодарная, – привычно подумал он, – не пью, не курю, по любовницам не шастаю, стараюсь заработать побольше – что ей еще нужно? Чего ей не хватает?»

Мысленно ругал и поносил супругу на чем свет: разве он не старается, разве они живут так уж плохо? Украдкой взглянул на шофера. Вот он, этот Ваня, живет хуже или лучше его? Должно быть, хуже. А вот по нему этого не видно. Сидит, улыбается. И не без легкой зависти подумал: ну прямо-таки все у него хорошо: и люди, и поля...и вообще – жизнь... Живет в деревне, ездит на колымаге, одет... так себе..., а лицо такое, будто в лото он джек-пот сорвал...

Через минуту Ваня лихо притормозил возле новенького зданьица автостанции с заасфальтированной площадкой, на которой стоял только один автобус.

– Это ваш, – весело сказал, – как раз успели.

Загоскин, выбираясь из кабины, еще раз сказал «спасибо», протянул на прощанье свою пухлую руку, шофер пожал ее от души, показал глазами на пакет с оставшимися сливами: – А фрукт-то заберите, жена для вас рвала.

– Вот как... – вырвалось не совсем уместное у Загоскина.

Можно было бы, конечно, и не брать сливы, но уж больно они были вкусны и ароматны, и он, помешкав секунду, достал из папки припасенный на всякий случай пакет покрепче, высыпал в него оставшиеся сливы.

– Спасибо, Ваня! – сказал и неожиданно для себя перешел на «вы»: – Счастливого Вам пути!

– И Вам тоже! – улыбнулся шофер. – Приезжайте!

Все было хорошо. И лекция последняя прочитана. И к автобусу поспел вовремя. И билет есть. И место, удобное, у окна. И дорога гладкая. И даже сливы вкусные под рукой. И все же...

«Все нормально, – сказал себе Загоскин, – все нормально!»

И все ж какой-то червь точил его, точил, лишая обыкновенной и нужной каждому, как воздух, земной радости. Быть может, все эти дни сверлившие его мозг обидные слова жены: «Живешь и никакой радости...» А может быть, виной его затянувшейся хандры была стоявшая и сейчас перед глазами радужная и чуть лукавая улыбка Вани-шофера, который, казалось, знал секрет веселой жизни на земле, но никому его не выдавал.

«Если радость кончается, – вспомнился Загоскину чей-то совет, – ищи, где ты ошибся». В глубине души он знал – где. Но сам от себя тщательно скрывал, ибо признать где, – стало быть, перечеркнуть чуть ли не всю свою жизнь.

Он старался отвлечься от этих нелегких и пустых мыслей и думать о чем-то другом. Но не мог. Всю дорогу неотступно преследовали и щемили душу вскользь сказанные Ваней

простые слова: «А вот приедете весной...»

И особенно это, простое и завидное: «А мы на своей земле жили, живем, и будем жить!..»

ПОЭЗИЯ

Игорь ЧЕРНУХИН

И БЫЛО СЛОВО РУСЬ...**СЛОВА**

Я жил как жил. Не важно, что неважно,
А важно, что душа была чиста.
Всё начиналось с белого листа
И трепетно, и честно, и отважно.

Бумага под рукой меняла виды
И обретала нерв, рисунок, звук.
Переплетались в них от сладких мук
Восторг, благодарение, обиды.

Слова шли горлом...
Робко, как невольник,
Я постигал туманный белый Свет,
Опасный, как Бермудский треугольник,
Загадочный, как женщина, как смерть.

ТРИЕДИНСТВО

Триедина великая вера,
Милосердна, глубинна, чиста,
Но тебе до конца не измерить
Эту легкость и тяжесть креста.

Не подсвистывай птицам небесным,
Не тебе понимать их удел.
В мир пришел ты, в великий и тесный
И не лучшие песни пропел.

Но ты принял высокие звуки,
Что с небес принесли соловьи,
И обрек на вселенские муки
Душу грешную, песни свои.

Что же делать, коль в жизни суровой
Просто так ничего не дано.
Триедино великое слово —
Было Богом когда-то оно.

Перед словом, как мальчик, теряюсь —
Речь мою замыкают уста.
Но спасают меня — озаряют
Три единых смиренных перста.

МЫ

Возвышенный,
не вознеси гордыни!
Упавший рядом —
да не разобьется!..
Даруется и саду и пустыне,
Равно как всем, одно и то же солнце.
Нам удержать бы только равновесье,
Земное притяжение пересилить! —
Не зря с тоской глядим мы в поднебесье,
Слепые дети смутных лет России.
Мы позабыли за тщетой великой
Отца и мать... долги свои и нищих,
И лишь во снах, бездомные калики,
Мы горько плачем и кого-то ищем.
А утром вспоминаем наконец-то
Далеких дней и запахи и звуки,
И солнца свет над отчим домом детства,
И лунный свет на пустырях разлуки.
Кто в этой жизни скоротечной мы? —
Вихрь тленных листьев на ветрах суровых
Иль древо жизни над ущельем тьмы,
Где ветка лавра вся в шипах терновых?
Что слава нам? —
Она, как дым миражный.
Богатство — пыль,
А доля — ветер в поле,
А надо жить...
Один мудрец однажды
Сказал, что счастья нет, но есть покой и воля.
Нам удержать покоя б равновесье,
Вдохнуть бы волю поднебесной сини —
И путь распахнут — вечности, и песне,
Кресту и жизни... Звездным дням России.

ИСХОД

Покоя нет. И воли нет. Раздора
Горит костёр... Мир слепнет от огня,
А Судный день, должно быть, скоро —
Господь к ответу призовет меня.

Что я скажу, печальный грешник, Богу,
Земной свой путь как оправдать смогу?
— Покой и воля, говоришь? —
и строго

Бог скажет:

— Всё на левом берегу...

Взгляну на левый... Чуден мир забвенья! —
Там умирают ложь, обман, молва,
А здесь, не счесть какому поколенью
Мешают жить л у к а в ы е слова.

Иду на левый. Гаснут небо, звёзды.
На левом лес и ночь... кричит сова.
— Уже не рано, но ещё не поздно,
Молись, молись...
Шепнёт у ног трава.

Очнусь — ворота
Ада или Рая?..
Окончив путь, что ночи был черней,
Душа голубкой белой замирает —
Не смерть страшна,
Страшна дорога к ней.

РАННИЕ ЗВЕЗДЫ

Выходя на дорогу, душа оглянулась...

Ю.Кузнецов

Не поздно, не поздно, не поздно
Душой оглянуться назад,
Увидеть, как ранние звезды
Глядят на осенний закат.

Как свет их, далекий и грустный,
Струится над далью полей.

Услышать, как ветер над Русью
Развеял печаль журавлей.
Как звук их высокой молитвы
Звучит еще в сонной тиши,
Вещая далекие битвы
Во имя славянской души.

Не поздно, не поздно, не поздно
Еще оглянуться назад...
Мы тоже, как ранние звезды,
Глядим на осенний закат.

Мы светим и падаем тоже
В осеннюю стылую тьму.
По дьявольской воле и Божьей.
И таем, как искры в дыму.

Но видим за далью долины
И слышим небесную речь,
И легкая тень паутины
Над нами проходит, как смерч.

ТЕНЬ НА ДОРОГЕ

Виктору Белову

Эта тень от меня, от живого,
Отделившись, бежит по земле,
И пока серебрится дорога —
Тень на спицах лежит, на руле.

Но потухло ночное светило —
Тень ушла, отступила во мрак,
И какая-то черная сила
Ухватила меня за пиджак.

Я застыл. Одинокий и жалкий
На дороге потухшей стою,
А навстречу мне черные галки
Всё летят через душу мою.

Но луною опять осиянна
Даль равнины и поле овса,

И было слово Русь. Оно
Являло жизнь, презренье к смерти.
Как ни душил его Лаврентий —
Оно осталось всё равно.
И во дворе пустой тюрьмы,
Где клетки камер, как конверты,
Оно пробило твердь из тьмы,
Как полынок и как бессмертник...
Глухая скифская трава,
Скупой, печальный знак разлуки.
Букет живым... от тех, кто в муках
Обрел свободные слова.
Их храмы белые парят,
А слово вольное гуляет.
Но кто-то в Русь опять стреляет,
И кровь пускает брату брат.
Монета мелкая звенит —
Учитель стоит очень мало...
Зачем ты плачешь горько, мама? —
Твоя любовь меня хранит.
И слово Русь звучит во мне,
Как Бог в российской круговерти...
Давно в аду сидит Лаврентий,
Да всё неймется сатане.
Пылит еще чертополох
И семена летят по свету,
Но возвращаются поэты
Со словом Русь... Храни их Бог!

ПРОЗА

Сергей КОТЬКАЛО

НАДО ГОТОВИТЬСЯ К ВОЙНЕ

Дорога была обыкновенно знойной. Ехала группа русских людей меж скал, по горам к Красному морю, чтобы переправиться на берег Акабы, что стало уже традицией: прикоснувшись к святыням древних мест Ближневосточной земли и запечатлев для укрепления опыт предшествующих тысячелетий, возвращаться домой по водам. Из года в год собирались и ехали так многие: Сергей Куличкин, Юрий Лощиц, Валентин Зубков, Борис Манвелидзе, Иван Лыкошин, Эдуард Володин, Сергей Лыкошин, Александр Богатырев, Игорь Ляпин, Владимир Щедрин, Анатолий Сафронов, Александр Сегень, Олег Фомин... Многие ехали. Разные, и каждый за своим, а после уж, по силам, делились с русским народом через журналы и газеты накопленным в Святых землях. Ехал среди них и Ваня, простой, неказистый, можно сказать, что совсем странное в тех рядах явление, однако ж прилип, и все терпели его наличие...

«Синай» вышел от Египетского берега сразу после гудка береговой службы.

Гудел катер или не гудел — этого Ваня не помнил и не утверждал. В письмах к сродникам, например, он сообщил лишь о прибытии в бухту Акабы так, будто Иордания начиналась сразу в Москве — должно быть торопился.

В сообщениях газет мелькнула заметка о том, что писатели ехали в шторм, что, конечно, преувеличение, хотя бала полтора — два было, когда «Синай» находился на середине пути.

Известно также, что писатели на борту вели себя смирно. Кое-кто даже спал. Ваня тоже, когда его «закачало», вздремнул, но после по этому поводу на машинном тракте сокрушался в разговоре с антикваром Евгением, дарителем чудотворного образа Святителя Николая Мир Ликийского Чудотворца с частицей мощей Свято-Никольскому храму Свято-Никольского скита Валаамского Свято-Преображенского монастыря. Об этом писали в газетах и сообщали по радио и по телевидению.

Когда Ваня смотрел в номере гостиницы для паломников видео-сюжет о передаче монастырю чудотворного образа Святителя Николая, чему сам был свидетелем, прежде посетив Валаам, то, к своему удивлению, не увидел в нем ни самого факта передачи, ни иконы, ни пения акафиста Святителю Николаю, да и монастырь с братией прошел рефренным фоном...

Меж тем писатели и Ваня приближались из Египта к берегам Иордании по пути пророка Моисея. Каждый думал о своем, потому что большинство паломничало в этой части Святой земли первым разом и опытом ничего не знало. Они пытливо вглядывались в бескрайность, а иногда и в окраинную палестинскую приграничную дымку, арестованную колючей проволокой израильских оккупантов, и думу гадали — каждый свою.

Они не пили горькую. Курили «втихую», кому было невозможно удержаться от соблазна. Ваня тоже курил, и даже в сравнении с иными прочими — часто. В нем, в его движениях и поступках чувствовались нервность и непростительная суетность. Один, теперь покойный писатель, его товарищ, говорил прежде по такому поводу: «В тебе, Ваня, откровенная заброшенность, бесхозность. Ты, вроде, и не божж еще, и всем нужный, а что чемодан без ручки — нести неудобно. Мирь — не для тебя...», — а сам этот провидец умер на паперти Большого Вознесения у Никитских ворот в Москве. Душевный был человек: Царство ему небесное.

Писатели ехали хорошие, видные. О некоторых часто говорят даже «знаковый», то есть отмеченный, что правда. И Герои, и лауреаты, и многотомные... Конечно, они везли для монастырских и церковных библиотек наработанные годами труды букв. Кто-то из них, когда поднимался на палубу, чтобы плыть в Акабу, «от тяжести горбился...». Ваня не горбился — нечем. Он всегда одинаково никакой, а то и противен. Ему другой брат-писатель тоже как-то сказал: «С тобой говоришь, будто с памятником на высоком постаменте... Как ты только жив до сих пор...» — но про этого писателя сейчас ничего неизвестно, где и что он, а Ваня — какой-никакой, а на Святой земле.

Ему нравилось ехать по пути пророков и апостолов, пусть и страшновато, и ответственно.

Еще недавно, год-два назад, Ваня о них думал сдержанно, но теперь вот трепещет и будет трепетать — знает наверняка — до конца дней. Он любит все: и Синай, и Палестину, и Иорданию, хотя прежде никогда не был; и не по книгам

любит, а просто так; потому что Святые берега, что с незапамятных лет люди там славили Бога, и славят по сию пору, и будут славить до веку. Такое есть на Святом Афоне, в Сергиевой и Киево-Печерской лаврах, в Печерах и в Почаеве... И Ваня про это знает, и тоже любит. Однажды его спросили: «А куда бы ты хотел?» — и он честно сказал: «Не знаю... Мне и в Дивееве хорошо, и в Прилуках, и в Святых горах на Донце, и у преподобного Иринарха в Борисоглебске... Всюду....»

— Вот ты, верно, читал Бунина, — начал было однажды спрашивать Ваню Александр Петрович, большой и красивый русский державный витязь.

— Читал, — признался Ваня. — Только Иван Бунин свое писал, а мне чужого не надо. Мне и Шмелев, и Зайцев — далеко. Местами мне Юрий Лошиц сродни, где у него святители и игумен Даниил меж собою ведут незримые беседы, и близко, а так — я люблю сам пощупать, приложиться лбом и губами: натура — колхозная, подкидыш.

«Синай» шел прямым курсом. На мостике стоял отец Василий, настоятель Никольского храма в Акабе. Это настоящий капитан. Совершенно не важно знать его подвиги. На него глянешь — и все: Капитан! Отец родной! Есть такая фактура людей, которым к внешнему виду никаких характеристик не требуется. Оно бы можно многое на его счет сказать, да незнамо, что лучше. Вот и Ваня тоже говорил: «Отец Василий», — значительно так произносил, что сразу верилось в какую-то совершенную правду, но дальше — молчал, хотя, наверняка, мог рассказать не меньше, чем мы читаем про святого Игумена Даниила у Сергея Куличкина... А иной раз и плакал, что многое хотелось бы поведать, однако, далее, кроме слез, ничегошеньки...

Прибывали... То есть стали приближаться к пристани. Первым увидели вдаль, над множественным, прибрежным городским хозяйством Акабы Крест над храмом святителя Николая. Сам отец Василий сообщил... Все перекрестились, поклонялись Кресту, что сиял золотом над парным от жары городом... По правде сказать, народ, конечно, мало еще чего тогда чувствовал и понимал, где и что... Но глядел, вздыхал...

— Мне почему-то вспомнилась икона преподобного Феодора Санаксарского, — совершенно неясно сказал Ваня тогда. — На ней святой старец держит свиток, где написано: «Думай о смерти»... Страшно не думать здесь!

— Ты меньше думай, — кто-то насмеялся над Ваней. —

Умничаешь много... Фарисействуешь...

– Каюсь, грешен...

– Это правда, – тоже кто-то безадресно сказал.

– А вон там, – сказал о. Василий, спускаясь с мостика и указуя перстом на берег израильской оккупации впереди, – Вифлеем.

Никто из пассажиров не знал, что близость к бабушке, на расстоянии вытянутой руки, закончится на причале. Точнее, увидят они его еще раз на напутственном молебне и в трапезной Никольского собора, но это уже другое «свидание»...

«Синай» открыл арабскую православную церковь, где служили молебны еще в середине третьего века и где и сегодня сияет неугасимая лампадка перед образом Спасителя над Царскими вратами: чудно и диковинно. Ваня смотрел и ничего не понимал – где жизнь начинается и где заканчивается? И просто верил.

Верил и как бы даже соглашался, например, что большой, тяжеленный крест в руках Андрея Первозванного, широко шагавшего по берегу Иордана от горы к горе, испытует его крепостью веры и духа. В минуту своей мысли об апостоле в нем смешивались радость и надежда, до слез.

...Более всего Ваня трепетал перед пророком Моисеем. Этот особенный трепет он испытал в сравнительно тихом, хотя суетном городке, каковы все города Иордании, где по улицам одинаково неспешны автомобили и осляти, верблюды и лошади, пия из святого источника, льющего тысячелетие за тысячелетием из скалы воду, пробитую жезлом святого пророка. Что творилось в душе Вани, то только Богу известно, но в своем рассказе вскоре по возвращении на родину, на поминках скончавшейся маменьки, рабы Божией Веры, он говорил:

– Тогда я понял, что даром мне не пройдет такая встреча... Какое-то время, не без боязни, вскрикивал ночами посреди кафизм: «Господи, Господи, за что мне сие, недотёпе... И Моисей, и Лот, и Красное море...», – и плакал, не таясь.

Ваня тогда чаще думал о смерти. Он нет-нет, да и повторял слова одного монаха на вопрос своего духовного чада, что вот погиб-де очень-но чистый человек, совестливый, но язычник, которому нельзя молитвенно помочь: «Ты, брат, не печалуйся шибко... У Господа мест много... Есть такие

хорошие и уютные места, где все имеется, кроме радости...» И Ваня с той поры много думал и страдал, как всякий грешный человек, избравший однажды путь спасения, подчинив свое содержание воле Господней.

Удивительно, но ничего за столько времени на этой земле не изменилось: ни караваны бедуинов, ни войны язычников противу воинов Господних.

Жители, населяющие берега вокруг морей Галилейского, Мертвого и Красного и вдоль реки Иордана, богобоязненны. Кроме тех, что бежали от праведного суда из стран, где они истребляли своих братьев, и нанялись в гвардейские полки безвестных королей уничтожать коренные народы, как, впрочем, и липовых, цивилизованных иудеев, надумавших взять реванш не во искупление греха распятия Сына Божия, а в выжигание палестинцев, сирийцев и всего мира, за ту историческую память и любовь к Богу. Конечно, уже не столь крепкую и твердую, что имел Моисей и его народ, однако, может, и большую, чем у нынешних христиан.

Образ жизни арабов и бедуинов — это совсем не тот образ, имеющийся у нас или народов Старого и Нового света. Им Господь по-прежнему дает все необходимое для жизни: землю, солнце и воду. Земля плодородна тем, сколько иорданцам необходимо для пропитания. Они даже в плодах природы почти не отошли от сложившейся традиции: смоква, маслины, мандарины и апельсины, финики и бананы, орехи и виноград. Солнце столь щедро, что крестьяне собирают по два и три урожая в году. Ограниченность водных ресурсов Господь так устроил, что, обмениваясь с израильтянами и меж собою, арабы и ее имеют достаточно для потребления.

В письме другу Ваня писал:

«Арабы и бедуины трудолюбивы.

Арабы и бедуины живут в любви и согласии, хотя израильтяне и прочие цивилизованные народы, как-то: англичане, французы и американцы — и по сию пору раздирают их...

Арабы верующие люди. Они ровно дети. Их младенчество существует от начала по заповеди Господа.

Арабы преданы своей участи и, по опыту предыдущих тысячелетий, останутся таковыми до века. Можно внешне менять много на Иорданской земле, но внутренний ее мир постоянен. Взять тех же простых арабских мусульман. Их никто не неволит творить молитвы в час намаза. Меж тем, даже рядовой воин оставит винтовку и помолится на своем цветастом коврике, когда угрожает ему смерть от неприятеля, но не изменит Господу».

Ваня, видя младенческую веру простого солдата-мусульманина, от умиления перед ним и скорби за своих соотечественников писал после брату на Север: «Имей мы такую веру, какую я видел в правительственных кварталах Амана, когда в сорок градусов жары боец на призыв муэдзина ровно и хладнокровно сложил с себя вооружение, постелил коврик и самозабвенно молился. Он молился так, что я, не зная их языков, слышал его просьбу к Господу дать мир дому его сродников и народу, и земле...

Странно, но больше ни о чем он не просил Бога. Как самаритянин, ничего не знает из Богословия, но верит, так я пожелал бы верить и нам, христианам. В нем, воине, невозможно найти мудрствования протестантов или фарисейства католиков. Он младенец. Ему дай сегодня Святое Крещение, и завтра уже он будет в раю, а то и к вечеру.

Мы часто слышим об арабском терроризме... Понятно, в семье не без урода... Верно, и среди арабов есть таковые, особенно в части образованных в странах Европы управленцев. Но сам народ, его центральная составляющая – простолюдины – это новорожденный чистый младенец, независимо от возраста, как источник святого пророка Моисея. Этот народ не станет громить христианские церкви, хотя в Иордании основная масса - мусульмане, а, напротив, с почтением и воздыханием положит лепту на укрепление алтаря Престола Божия.

Арабы, вообще, к христианам относятся с особым чувством. Они и детей стараются пристроить в православные гимназии и школы, полагая, что только в них способно получить достойное образование.

Арабы при том, что в цивилизованном мире их приравняли западные гуманисты к человеконенавистническому роду, никогда не ворвутся в чужой дом, никогда не станут выжигать огнем, как то творят израильские фашисты в палестинских городах и деревнях, уничтожая разом кварталы и улицы.

У них, я бы назвал, избыточная снисходительная извинительность.

Один араб, Исса, что есть по-нашему Иисус, понятно, христианин, поведал мне, как в его подъезд вселился израильский дипломат, у которого, может, только ермолка не в крови убиенных палестинских младенцев. Так этот араб не убил дипломата и не взорвал детей его, а вместе с другими жителями дома обратился к правительству Иордании с просьбой подыскать для израильянина более комфортабельное

жилище, где соседи не будут испытывать неприязни к палачу-новосельцу.

Этот араб, как и его далекие и близкие предки, родился по ту, западную, сторону Иордана. Он ходил в школу, открытую Русской Православной Миссией в Палестине еще при турецкой оккупации. Там же учились его родители и дети. Затем набежала израильская саранча из стран Европы и Америки, разбомбила их село и школу. Перерезали под водительством Шарона и Ко едва не весь его род, выгнав автоматной очередью оставшихся в живых мытарствовать по миру. И все ж чудный, белый от огня и горя араб, которого я полюбил навсегда, встретив одного из армии Шарона, ряженного в тогу дипломата, не смел и подумать об убийстве...»

Вдругоряд Ваня писал своей маманечке перед ея успением: «... вернулся я с трудным сердцем. И ты, любовь моя, меня поймешь... Там Красно во всех отношениях: солнце и кровь. Нет, в Иордании не стреляют и не режут наружно, как в Багдаде, где американский скот ежедневно качает свои дряблые мышцы бомбометанием по безответным иракским детям...

Словом, не ведаю, помнишь ли ты Али — он палестинец, они у нас на Донце учились на энергетическом факультете... Должна помнить, по общежитию. Ты еще дивилась, когда наезжала ко мне, как много их и какие они красивые и сильные...

Впрочем, у него все, слава Богу, благополучно. Жена хорошая. Русская. Три хлопца. Два уже учатся в России.

Он меня узнал среди прочих. А я его не сразу.

Совершенно несказанна их приветливость, мамочка. Прямо как в нашем селе...

Кстати, тогда же я встретил своих однокурсниц, что вышли замуж за арабов и уехали с ними. Очень красивые девчата, хотя четверть века минуло. И русскости не потеряли, и семьи хорошие у них. Я не берусь судить за всех, но те, наши энергетика, любви-дороги...»

Батюшке Ваня писал иное: «... в Святых землях все прозрачно, как линии на ладони. Сразу видны Иерусалим, Вифлеем, Иерихон... Видны простые палестинцы на редких плантациях смоковниц и маслин, чудом сохранившихся в огне израильских танков, минометов и бомб. Видны вооруженные до зубов, безотчетные головорезы израильской армии. Среди них слишком заметно выделяются бежавшие в девятнадцатом веке с турками черкесы: они одинаково преданы королю Иордании и премьеру Израиля Шарону.

Задача, как цель, одна уничтожение арабов.

Мой бывший однокурсник, араб Константин, прочитал в интернете на сайте православного сетевого братства «Русское воскресение» стихи Муина Бсису, зверски убитого в английской столице в номере гостиницы моссадовскими палачами. Узнав о моем пребывании в Магабе, целый день сидел над напольной мозаикой-картой Иерусалимской епархии, набранной смальтой в V веке, искренне веря, что именно в этот день, когда от жары плавился асфальт, мы встретимся...

И встретились. Долго молча смотрели друг другу в глаза. Ни он, ни я четверть века не знали друг о друге ничего и, надо полагать, знать не желали бы, если бы с нами и нашими странами не произошло то, что есть.

Забавно, однако, мы узнались. Константин стал на паперти, когда два Сергея, перекрестясь, входили в притвор, и сказал им: «Передайте Ивану, что я жду его здесь». Удивленные ребята, приблизившись к карте-мозаике, невинно бросили: «На паперти тебя спрашивал нищий».

Константин не был нищим. Скорее щеголь, по нашим, по московским меркам. Весь белый — голова, платье, носки и ботинки.

— Ты дал хорошие стихи Муина, — сказал Константин, когда я взором разыскивал нищего. — Ты меня не узнал, Ваня, и я тебя тоже... Ребята помогли, — быстро, с хорошим московским произношением говорил. — У нас мало времени, но много ушей... Давай пройдем и выпьем на углу по чашечке кофе... — и я, покорный телок, шаркал за ним через улицу. — Ваня, забыл назваться: я — Костя. Мы с тобой учились в группе «один-два», после нас развели...

Развели всех.

На западном берегу у Кости была большая родня. Был дом. Сейчас он на восточном берегу. У него есть жена и три сына. Он возил детей инкогнито, без опознавательных знаков на западный берег и показывал дом, где жил он и где будут жить они.

— Это наш дом, — выкрикнула, подслушавшая разговор отца и сына, временная обитательница подворья на русском языке.

— Нет, — сказал кишиневской хабалке Костя по-русски, — он никогда не будет твоим: и через десять, и двадцать, и тридцать лет...

— Константин, — обронил я после фразу, которую напомнил мне товарищ, запавшую со времен нашего студенчества. — Горя много. Много горя. Бог милостив.

— Я знаю, — весело кричал вслед нашей машине, — повстречаться хотелось Ванюша, ты же знаешь. Я тебе напишу....

Как красив он, батюшка, как бел и прозрачен, и чист. Он похож на пророка.

Чувства смешаны. В Митрополии нас принимали протоирей Ибрагим, или, правильнее, Авраам, и архимандрит Макарий приветливо, чинно. Владыка на тот час был в Иерусалиме.

Оба священника производили впечатление полной открытости, но это только внешне. Внутренне застегнуты на все пуговицы, по полной выкладке, готовы в любую секунду перейти в контрнаступление. Словом, бойцы!

Отец Авраам русского языка не знал и говорил через переводчика. По виду он занимает должность «правой руки» митрополита. Информировал о текущей жизни Митрополии, избегая острых углов. Особенно нажимал на ровный характер отношений светских и церковных властей. Ложь, весьма похожая на нашу.

— Отче, простите, Христа ради, — вклинился в момент паузы в его монолог. — Нам действительно многому можно поучиться у вас, потому что Иерусалимская церковь самая древняя. На вашей земле, по вашим словам, мир и благодать, и то правда. Когда я стоял на горе Небо и обонял благоухания, парившие в воздухе, где, несомненно, всегда присутствует пророк Моисей, я не чувствовал тысячелетий, разделявших меня и его, — о. Авраам и Макарий сопереживательно улыбались в ответ. — Он был со мною и во мне. Душа моя смеялась и рыдала, рыдала и скорбела. Второе чувство вызвано, нетрудно догадаться, тем, что католики-францисканцы захватили гору вместе со святынями ея и используют лишь в части туристического бизнеса, точнее, торговли... Схожая участь постигла и остатки святынь в долине, где вознесся на колеснице пророк Илия, подвизался пророк, Предтеча и Креститель Иоанн, где крестился водою Господь наш Иисус Христос... На месте пещеры, где скрывалось святое семейство по пути из Иерусалима...

— Довольно, — примерно так переводится жест о. Авраама. — Мне понятна ваша дума. Для случайного гостя все, что сказано вами, горько слышать, но не нам, кто живет и молится Господу нашему Иисусу Христу здесь со дней Его рождения. Одна ваша писательница говорила, что не было подлее нашего времени. Две тысячи лет палестинцы встречали и разносили по свету благодатный огонь и никогда

не сходили со своего места. В этом году (2002 – С.К.) в Страстную седмицу и на Пасху они тоже встречали и разносили по Иерусалиму Благодатный огонь. Но те из них, кто был в Вифлееме и скрылся в стенах храма Рождества Пресвятой Богородицы, вопия к православным братьям о помощи и защите, не услышали ни от кого, кроме католиков, отклика, даже от самой большой и уважаемой в мире Русской Православной церкви, которая обиженно обратилась к мировому сообществу с требованием спасти ее имущество от повреждений: Паломнический центр (построенный, между прочим, при активном содействии Палестинской администрации), куда ворвались израильтяне, где давно не бывает паломников... Много, много детей и женщин в Вифлееме и Рамале в те дни положили израильтяне под гусеницы...

После слов мы пили кофе и обменялись приветственными адресами.

Конечно, в Святой земле мы молились и пели акафисты Господу Иисусу Христу и Пресвятой Богородице, Илиипроороку и Предтече и Крестителю Иоанну...

И все ж, уезжая, я плакал, сроднившись с родною Палестиною, зная, что у Господа на моей грешной голове все волосы сочтены и ни один не упадет без Его святой воли. Что милость Его дана мне была на укрепление, дабы, встретившись с непогодами на родине, пусть и крепко забившись, не пал до края, откуда обратного пути не бывает.

Маму перед ея успением соборовали. Отпели в церкви святого мученика Димитрия Солунского, – помните, летом я был у его святых мироточивых мощей в Салониках.

Хоронили на старом погосте в еще не мерзлую землю.

Два чувства – радость и скорбь – слились во мне...

Помолитесь о грешном р.Б. Иване непутевом, батюшка».

Спустя месяц Ваня получил письмо из Святой земли на свое там пребывание:

«Здравствуйте, уважаемый!

От имени нашего женского клуба Друзей русской культуры в Иордании и от себя лично хочу поблагодарить вас, а также Александра Юрьевича Сегеня, Сергея Павловича Куличкина, Лыкошина-младшего за интересную и незабываемую встречу. Вы даже представить себе не можете, что значит для нас, живущих вдали от Родины, но болеющих за ее судьбу, встреча с вами – истинными патриотами России. Мы ценим каждое ваше слово в защиту правды и

справедливости.

Очень жаль, что не довелось встретиться с Сергеем Артамоновичем Лыкошиным. От нашей семьи хочу сердечно поблагодарить его за теплые слова о нашем родственнике, палестинском поэте Муине Бсису и пожелать уважаемому Сергею Артамоновичу крепкого здоровья и творческих успехов.

Очень приятно было для нас также увидеть стихи Муина Бсису на сайте «Русское воскресение». Спасибо!

От всей души желаем всем вам здоровья и творческих успехов. Храни вас Бог.

Надеемся на новые встречи с вами на иорданской земле. С уважением Елена Бсейсо», — прочел в конце зимы.

Да, ровное дыхание осталось на спуске по трапу с «Синая». В остальном он понял лишь, что внешне тихая Иордания — это пуп Земли, где все переплелось от пророка Моисея до Второго Пришествия Господа нашего Иисуса Христа: чем глубже проникаешь в её прозрачность, тем крепче захватывает дух и чаще текут слезы.

Его добрый товарищ Сережа Исаков на Крещение, лежа в госпитале, говорил: «Слишком близко и быстро время. От Ильина дня до Богоявления — одно мгновение. Надо Петровичу в Аман позвонить: пусть готовится!»

«Всем нам надо готовиться», — завещал блаженной памяти усопший Иадор.

P.S. Сегодня, двадцать седьмого января, на Отдание Богоявления, Ваня молился в церкви Ивану-воину о даровании мира арабским братьям...

Американо-израильский военно-истребительный блок (США, Англия, Австралия, Израиль) сосредоточили мировой бюджет 2003 года в районе Персидского залива, держа под парами тысячи единиц авиации, нагруженной, кроме бомб, десятками тысяч британских и австралийских мясников.

Ваня не стал ждать приглашения на казнь отдельно взятых иракцев и по полудни вылетел в Багдад.

ВЕТХОЗАВЕТНОЕ

...потопное солнце и тихие облака молчали жизнь. Шуршали опавшие листья: они проводили остаток осени до срока. На краю провинции шла знаменитая в веках бывшая Маруся, по обыкновению высоко держа головку вперед пути, но в лице она сильно сдала и потому на нее теперь мало обращали внимания. Маруся шла по забытой Богом провинции, по ее задачам, где в глубине фруктового сада стояла простая русская изба, откуда она каждодневно отправлялась служить смотрителем в музей ее имени и куда непременно возвращалась ночевать одна. Маруся шла не думая, шла просто, повязана на голове алой газовой косынкой, одета в алый плащ и черные лаковые туфельки на черный чулок. Шла привычно торжествующей походкою, неуклюжею и даже зряшною, потому как в теперешние времена принято ходить обратным ее стилю макаром. На руке Маруси висел дамский ридикюльчик, куда она, возвращаясь со службы, клала бутерброды с буфета, на ужин и завтрак. Маруся возвращалась домой, когда все жители задворок отсиживались в домах, глядя в телевизоре новости из потусторонней жизни, и ей совершенно не требовалось отвечать на приветствия и глупые вопросы о делах, коих у нее не было с той поры, как знаменитая в веках вдруг за ненадобностию забылась...

...Маруся вошла в избу. Зажгла желтый свет на кухоньке и увидела за столом Макара. Маруся не испугалась, а лишь тихо сказала: «Здравствуй», — безмятежно скидывая с плеч алый плащ, как сиротливо блеснула крохотная на черном панбархате платья трудовая Звезда Героя.

— Здравсте, — робко сказал Макар, принимая плащ и вешая его тут же, в кухне, на гвоздик.

— Дождался, — грустно сказала Маруся, поставив чайник на газ.

— Дождался, — невесело сказал Макар и снова сел за стол. Маруся перестала ходить по улице одна.

Музей закрыли.

СМОКВА

... Нет ничего проще, как убить человека, — обыкновенным голосом сказал мне за столом, нервно жуя жилистую куриную ножку, товарищ, кого я всегда почитал моралистом и великомучеником, отбывшим, как говорят в народе, не один и не два срока по делам своим, с лицом изможденным и яростным от спадавшего желтого света через широкие голубые стекла витрин несколько заброшенного, прежде блиставшего светом московского ресторана, где собирались за обедом люди различных званий и положений, отчего оркестровая музыка казалась безвременной и пошлой, и каждый, оставляя залу, полагал долгом заметить швейцару в дверях: «Шумно, брат, до омерзения», — сунув в крепь отставного военного прапорщика рупь-другой, и он, покорно и смиренно приняв подавание, согласно кивал: да, мол, ваша права: шумно, — тогда как про себя думал по-халдейски: какого черта сидел, вона сколько желающих на ревизию, — имея в виду ожидателя, выстроенного в ровную голодную линию. — Да-да, — повторил товарищ, — не стоит удивления: убить человека проще, чем одолеть в нашей харчевне жарено-сушеную ногу франкфуртской курицы. Право же, до чего дрянная пошла птица, тогда как я хорошенечко помню, по лагерям, куропаточку. Конечно, ее на убой никто не кормил, да и нам, по правде сказать, не часто улыбался ее перелетный напев, но уж если выходило, то тут мы уписывали ее светлую память нежнейшими словами, вздохами, причмокиваниями... — и тут он вдруг поперхнулся, оторвался окровавленным взглядом на мое смятение и, прокашлявшись, весело расхохотался... — Вот это я вас взял, чудак человек, кто бы мог подумать... И что же такого сказал... «Нет ничего проще, как убить человека!» — неужто вы никогда никого не убивали, или вас хотя бы...

— Нет! — тихо возразил я.

— Да полно, право, вам. Нет такого человека, кто бы не убил или сам не подставился под пулю. Вот хоть меня возьмите... — начал он о себе и как-то откровенно сник, лицо его побелело, вздрогнуло, глаза сузились, зрачки гневно забегали, он как-то чересчур судорожно, взхлеб вылакал весь фужер белого вина, уронил приборы в салат, спешно и виновато стал поправляться, тогда как из того ничего путного не выходило и даже, напротив тому, руки испачкались в

сметанном соусе, после чего он стал промокать их о брюки, чего от него уж никак не ожидал...

— Успокойтесь, — стал ему говорить, — на вас лица нет, — и тут его снова, будто ошпарило кипятком, перелило в красную краску, и он прямо возопил в меня: «И не было никогда», — имея в виду лицо, поруганное временем.

— Все мы, — настороженно пробежав галопом залу вниманием, — убийцы, и я этому не исключение, а мамка мне говорила в детстве: «Ты, сынок, будь дисциплинированным и примерным мальчиком», — хорошая была мамка, труженица, честняга, и я ее любил детской и скорбной любовью, и она, сердобольная, нежнейшая и кроткая, любила меня. Ох, как же она меня порола любовно, да все не впрок. Меня бы и сейчас пороть, то может еще и вышел бы толк, — и все это он говорил с каким-то тайным просветлением и счастьем, непонятным моему разуму, сухих и точных во взгляде глаз. — Да-да, верьте мне, мама меня порола, а однажды за взятую без спросу, не украденную, подчеркиваю, без спроса взятую на книги последнюю в доме, в Сочельник, в канун Нового года, трешку, которую, должно быть, и истратила бы мне на конфеты да хлеб, выставила, предварительно выпоров до черноты в теле, босоногого и нагого на снег за порог... Стою я и весь дрожу от ее надсадного разрывающего мне сердце рыдания и не смею замерзнуть, тогда как мороз доходил до тридцати градусов и ветер выюжил снега... — И он снова сник, и сколько-то тупо молчал, грубо сглатывая ком в горле, затем горестно сказал: — Это ли не убийство?! — налил себе в фужер вина, залпом опрокинул его, чтобы хоть как-то переменить состояние. — Однако и это еще что, — продолжил он, закулив неизменный для моей на его счет памяти «Беломор» фабрики большевика Урицкого. — Разве только одним убийством упивается наша грешная душа. Вот вы, например, — обратился ко мне пронзительным упрямством взгляда, — сколько могли бы убийств взять на душу?

— Одно, — зло, совершенно неожиданно сорвался в признании я, — но этого разве мало?!

— Много, — тихо сказал он.

— Много, — также тихо повторил за ним, отпил из своей рюмки коньяку и, не закусывая, стал зачем-то признаваться в потаенном в синь крошечной тьмы грехе, давно и больно подкосившего мою молодую страстную натуру, побелившего всегда длинные смоляные, что от матери-цыганки, космы. — Много, — говорил я, — уже потому, что убийство,

совершаемое нами, сподвигнуто было молчаливым упрямством согласия...

— Да, — твердо и властно перебил товарищ меня, — я знаю. Всякое непорочное принято обществом обставлять пороком, от того и бежал среды, но даже в лагерях не спрячешься от пагубы и, хотя там ты меньше в эмиграции, чем на воле, ничем от мерзости не спасишься. Человек вынужден быть несчастным ради того, чтобы соблюсти покой окружению, что так неверно и плохо!

— Значит, и вы... — обрадованно залепетал я, но он:

— Нет, — возразил, — просто у вас слишком заброшенная внешность. Люди в лихую годину обнажаются и наружу выступают самые сокровенные их чувства. Вас бы поберег кто. Слишком вам одиноко и зябко, — говорил мне человек, лицо которого набрано нонпарелью. — Пойдемте на воздух. Здесь не согреешься, — и мы вышли в открытый широкий белый свет Тверской лицами на строгое тяжелое красное управление городского Головы.

Обед кончился. Навстречу тянулась дряблая грязная рука обезноженного попрошайки.

РУБЛЕВОЕ СВИДАНИЕ

Весна была тягостной и холодной. Природа то просыпалась, то впадала в тревожную зябкую дрему. Небо куталось в густые, сорные дымчатые клубы туч, вздрагивали голые ветви деревьев от воровского дуновения ветра, жужжали пробегавшие мимо машины. Томленные великопостным движением люди шуршали по обыденному маршруту. Они брели разрозненными стадами, перебрасываясь от случая к случаю короткими деловыми фразами со спутниками только из привычки, называемой необходимостью словесного общения. У каждого из них была своя боль души, которую они лечат собственным упованием на участь, никогда не выставляя ее общественному суду, каким бы третейским тот ни являлся. Папа был одним из движенцев, почти не отличался манерами препровождения от сограждан, выполняя с присущей народонаселению скурпулезностью живительный этикет.

Папа долго любил маму, мама долго любила папу. Чувство продолжалось минуты две-три. Им было невыносимо хорошо вдвоем, отчего они соединились, чтобы жить под одним одеялом, подаренным маме мамой, завернутым в ажурно вышитый розовой нитью пододеяльник. Они жили, покуда солнце не взойшло над их головами, и огромный белый по алому написанный плакат не ранил больно «Славой труду!» незамутненный обнаженный разум влюбленных.

— Весна, — сказал папа.

— Утро, — возразила мама.

— С простреленным сердцем, — скорбно продолжил он, пялясь в грязно-желтый потолок. — Скоро умрет: они сожрут его...

— И мы больше никогда не будем вместе, — решила она за всех.

Весна продолжалась. Долгая любовь раздвоилась, размножилась в сердцах современников. Нервная, лихорадочная мама по утрам выкрикивала фразу:

— Надо вставать, — и поднималась, чтобы от зари до зари в чистом поле ломать хребет за счастье в далеком будущем.

Случайное щедрое жирное солнце ползало по буеракам, канавам, обдавало прохожих едкой пылью. Озаренные

светом люди радовались праву трудиться и обязательно старались соответствовать положению конституции, сознавая, что они располагают за честное отношение к делу правом на отдых, хотя государство за данный параграф никаких обязательств перед ними не имело. Так вот меж небом и землей влачат они свое существование, ждут старости, ждут смерти и лишь на пороге бездны противятся, рвутся из кожи, откладывая предписанное свыше назначенье на час-другой, обманываясь и лстя друг другу.

Мама качалась утиной походкой по улице Мира параллельно мемориальному паровозу на гранитном постаменте, некогда забежавшему в город большой и главный, высокий и дымный, горький и чадный. На колесах остались рытвины-следы бесконечных петляний по свету. Вслушавшись в забвенный сон машины, в гневное сопение сквозных форсунок, думала о родине, о счастье...

...Родина! — как любила она ее непонятную многим наружно, глубокую, рубленую, комканную и веками на веру испытываемую, от имени и по поручению которой ее единственный сын строил коммунистическое далеко в скалистых ущельях и равнинных аулах, где на мшистых камнях и по сей день тлеет багряная кровь сломленных зубов римлянина Македонского, — думала бессвязно, отчего мысли расплывались едва заметным серпантинном по заиндевелому древу жизни...

— Тосковало дитя, — нашептывала она, но сердцу:

— Нет, мать, — иное гласило знамение, — я лежал в поле маковом, слушал музыку пьяную, быструю, грозную, славную...

— Боже правый, — сказала она, кряду несколько раз, скользнув по раскисшей от прорыва солнца каше на льду, уронив кирзовую сумку, хватаясь за прозрачность влажного утра дрожащими руками, шепча:

— Господи, Боже... — и удержалась.

После двигалась медленно, цепко, почти не качаясь. От былого в теле ничего не осталось. Худая, сморщенная, согбенная она шла своим чередом по улице Мира, главной магистрали города-гиганта, круто замешанного на цементе и стали, с портретами и транспарантами над магазином, выстроенным полгода назад на месте, где прежде стоял воздвигнутый навек бронзовый бюст — памятник при жизни лидеру и вдохновителю технических революций. Это было дорогое, любимое лицо заката ее молодости. Всякий раз приезжая на побывку в город, мама приходила к нему и молчала, вспоминала гримасу при последней встрече, когда

кто-то из подчиненных сказал: «Вот она, ваша...»

— Христос, — зацепив зубы, сорвался он на начальника охраны порядка, — проводи ты ее без оглядки... — и товарищ по службе отчестился «под козырек», сунул в руки чужой женщине путевку на Север, лишь миг простоявшей злейшим врагом обстоятельств.

— Так надо, — говорило бронзовое изваяние, — не сердись. Все хорошо. Другим хуже давали... Так надо...

Мама приходила к монументу веснами и всегда как бы ненароком, по пути...

Кто мог подумать, что даже памятники бренны в этом мире, что приходит час, когда шершавый язык колокола лягает ядовитым и злым ударом и они рассыпаются в прах, а на их месте воздвигаются новые, более полезные коммерческие сооружения?! Кто из тех, кому поручено править улицей Мира, задумался над судьбами памяти тех, у кого она долгая? Впрочем, что уж там...

Мама шаркала ногами по мокрому склизкому леденению улицы навстречу магазину, положив освобожденные от пустопорожней ноши натруженные за век руки на спину. Голова пухла роением дум. Пташка-душа билась в ржавых прутьях клетки, вырываясь из тела наружу, но строгие правила игры держали ее за поломанные, обветшалые крылья, чтобы иллюзия жизни продолжалась как можно дольше.

Заключительный великопостный день завершился. Народ тащил для разговения товар, полагая, что праздник святого Воскресенья для того и существует, чтобы страдать и кривляться горькой.

— Бога нет, думают, — сказала мама про себя, став последней в хвост ожидателей.

— Кому как, — весело возразил последний, — вы-то сама такая же...

— Да, — кивнула согласно, — грешная.

Очередь медленно, но уверенно тянулась к цели. Так уж устроен живой механизм, что ничего бесцельного совершать не способен, и любая цель оправдывается лишь верностью — таков критерий истины правды и лжи.

Меж тем солнце закатилось за край черного неба. Блик студеного света неона сочился сквозь окна, скользил в тумане моросившего дождя по голым деревьям и постным лицам ожидателей. Бледный печальный образ мамы отстраненно участвовал в предпраздничном шествии, блуждая огромными мутными синими очами по сторонам. Протянутая рука ее гладила толстую русую, тугую косу,

спавшую на иссохшую грудь, облупленные, потресканные губы шамкали запоздалые мысли...

— Ну-ка, ну-ка, — напирал товарный грузчик на очередь пустыми ящиками, — дорогу, — и толпа отстранялась...

Нога мамы застоялась и никак не отрывалась от места. Мама замешкалась — и товарный грузчик беспардонно пнул ее ящиком в спину:

— Понаедет деревня... Воля Твоя, Господи... Не пройти, не пронесть... — крепким голосом сопровождал действие. — Пшла, вешалка старая... — и мама привычно безобидно отстранилась к алюминиевой стойке рекламы.

— Вы слышали, — спросил веселый возражатель неизвестно кого, — подводную лодку на дно океана посадили... Дожили. Даже правительственную комиссию для расследования создали...

— Интересно, — подставилась отзывчивая на чужое горе мама, — кто ж это из нашего правительства на дно пойдет...

— Не волнуйтесь, мамаша, никто! — встрял возвратившийся грузчик. — Им сверху наскрозь видно...

— Наверное, — сказала ему, и разговор сам себя исчерпал.

Стоять в очереди без занятия скверно, но еще гораздо хуже тому, кто влезает в катавасию беспричинно, как мама. Она к ней, к очереди, попривыкла, отчего и не может сидеть сложа руки в теплых, светлых домах города-гиганта без дела и суется, стоит то там, то тут, участвует в разделении труда.

— Я тоже не могу проходить, — говорил веселый возражатель, — мимо денег. Вот вижу вы, тетка, на рубле стоите, и сердце мое, будто кипятком обдатое, мается от надругательства над госдензнаком... Отойди вперед, што ли, — ладненько в спину толкая...

Мама повиновалась и отошла. Нет, не думайте, не из гордости за рублем не нагнулась, не лени ради — в былые годы за три копейки от темна до темна земно кланялась на свекольных полях — и ее сердце екнуло при мысли про рубль, да только спину ее согбенную лишь могила способна поправить...

Кроме того, рубль лежал глубоко во льду, и чтобы взять его, требовалась удалая смекалка, а откуда ей взяться у старой женщины...

Веселый возражатель, надо полагать, не из робкого десятка, мастерски ковырнул наледь ключом от квартиры, где голодные дети сидят, да не тут-то было — весна весной, а льды по расписанию тают... Он попробовал еще, да на том и спекся. Очередь оживилась смешком, пробежавшим от хвоста к двери магазина и обратно. Веселый возражатель

вернулся обратно на место. За мамой стал неуклюже одетый, дурно пахнувший мужчина с перекошенным лицом, без руки.

– Стоим, – сказал он, – и правильно. Завтра Пасха. Попразднуем. Ты, бабка, за «красненьким»? – спросил у мамы.

– Да я и не знаю. Так стою.

– Ну, ладно врать-то. Сам такой. Ты носом не води. Ну, мышами воняю, ну и что? Можно подумать, что ты «Красной Москвой» пахнешь...

– Я ничего, – заробела мама.

– Ты старая и никому не нужная, – продолжал травить последний ожидатель.

– Это верно, – согласилась она.

– Конечно, верно. Как дважды два четыре, верно. А чего от рубля рожу воротить? Гордая, да? На «красненькое», небось, по подворотням бутылки шибаешь, а принародно за рублем нагнуться стыдно, да?

– Наверно, – совсем оробела мама.

– И зря, – сказал пришлый. – А я не гордый. Смотри... – он нагнулся и нежно погладил лед. – Мне как раз его на «красненькое» и не хватает, а посуду шпана увела...

Мама слушала разговор ожидателя, узнавала в простуженном, хриплом голосе до боли знакомые звуки, и взгляд ее синий полевой светлел пред седым можжевельным деревом. Почудилась токующая на его вершине птица. Захотелось, как в детстве, подпаском погнать можжевелевой веткой «вперед» коров или, прижавшись к печи, вблизи ржавого ручкомойника, тайком от отца обглодать запеченную заячью ногу с хрустящим твердым огурцом, яро пахнущим можжевелевой негой... И слушать, слушать, как поют дрозды и свиристели, сидя под деревом, когда тетеревина ягода сама сыплется в подол...

В широкой неуклюжести ровных улиц почти не росли величавые можжевелевые деревья. Пообмякли, пообветрились, посутунели города, дымами держится небо, паленым дышат жители...

Мама слушала выговор ожидателя, узнавая в нем отголосок бронзового монумента, отголосок громогласного начальника научно-технического Центра, вещавшего некогда про кризис Карибского бассейна в рупор московского радио, полагаясь на опыт наблюдений, отсылая без надобности народ к трудам покойного Ленина, называя ложные страницы томов, каких и сам никогда не читывал, не листал, не видал занимательных прозрений вождя

мирового пролетариата, где, понятно, никакого касания к водоемам Латинской Америки не было и быть не могло...

– Ты сядь на него... – услышала мама чужое ругательство, – скорее дело выйдет, – касаемое гревшего лед.

– Не разевай хлебало, – разительно огрызнулся на голос безрукий, и в голосе чувствовалась смесь желчи, силы, отчаянья.

Он грел рукою лед, затем дышал истово на ладонь и разминал пальцы, и снова грел... Мама старалась не глядеть на труды праведные, и все ж исподтишка, исподлобья касалась поросшего рыжей щетиной образа, кривого до неприятности, но с отпечатком жилистости и упрямства в остроте и колкости черных глаз...

– Что, старая, – злился добытчик, – пялишься? Рубля жалко? Погрей со мной – может, и поделюсь... Робеет, – неистовствовал из круга ротозеев, – знамо дело: не дам, хоть режь.

В центр события нырнул постовой сержант с резиновой дубинкой на ремне, ревниво обвел спешившийся народ изучающим прищуром, смерил сидельника уголовным правом и, не найдя причины для суеты, наклонился над ухом безрукого, замысловато уставившись на расстегнутые брюки, смеясь, сказал что-то... Людей не обманешь. Они сразу смекнули по растерянному лицу обиженного суть совета и хохотали, кто тихо, одними губами, кто так...

– Ну, че? Че? – плаксиво возникал добытчик. – Че ржете над чужим горем? Человек страдает, а они смеются... Вот вам бы так...

Меж тем очередь опомнилась и быстро стала нажимать на дверь, как бы получив сигнал целевого назначения. Добытчик из последних сил вырвал ледяной рубль из объятий почвы и счастливый пошел прочь от магазина. Мама тоже бросила свой бессмысленный черед и подалась за безруким. Теперь она наверняка узнала в нем некогда отлитого в бронзу любимого рыцаря, готовая идти за ним хоть на край света...

– Ну, че те? – повернулся, притормаживая победное рвение, добытчик. – Ты думаешь, я тя не узнал? Ты думаешь, я забыл, кто ты? Ты думаешь, что пришел час расплаты? Так знай, – обливаясь слезами, вопил он, указуя перстом на небо, откуда душа моя сопровождала их неисповедимый путь по улице Мира, – вон она, наша расплата, дурочка, вон она, наша любовь...

Мама смотрела на небо мутными взором и в прозрачности далека не видела, кроме тягостности и холодной весны,

ничего. Солнце выплыло из-за сорных клубов туч и покатилося на запад. В приземистом храме Воскресения в среду лохматый священник выступал на амвоне перед соборными и, падая на колени, низко кланяясь, читал молитву преподобного Ефрема Сирина:

Господи и Владыко живота моего!
Дух праздности, уныния,
любоначалия и празднословия не даждь ми...

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви
Даруй ми, рабу Твоему.

Ей, Господи Царю,
Даруй ми зрети моя прегрешения
И не осуждати брата моего,
Яко благословен еси во веки веков. Аминь. —
и мама, полная счастья несчастного слушала его, а теперь
сама повторяла и плакала горько после встречи неожиданной.
Сердце её утишилось.
Приближалось светлое Воскресение.

АДМИРАЛЬСКИЙ ЧАС

...мир до изумления нетерпелив, — сказал он, когда хвост поезда показал красные сигнальные огни своему опоздавшему приятелю, растерянно смотревшему на убегавший состав, — но это ничего, хотя и обидно, конечно, однако мы и сами повинны, — и все произнесенное казалось абсолютно не разочарованием, а лишь ностальгической грустью данности одной жизни, какую человек столь опрометчиво растрчивает по пустякам и лишь на смертном одре способен спохватиться и даже покаяться, да только напрасно.

...Так они простояли минут пять. Приятель молчал и он тоже. Проводили поезд до той поры, пока были видны сигнальные огни, и чуточку еще. Затем обменялись взаимно папиросами и задымили, как бы ответив на пары солярки локомотива, потому что каждый из них любил поезда и большую часть жизни провел на транспорте.

— Да, — первым сказал он, — стареем, нет той прежней тяги и куражу, когда к поезду мы прибывали за час, заправлялись на дорогу в ресторане и выпивали штоф отправного коньяка.

Но приятель и теперь молчал: он был еще не готов пережить опоздание.

— Ну, полноте, право, отправимся литерным, а сейчас, по старинке, пойдем, закусим и выпьем по рюмашке крепкой, — на что тот ему кивнул и пошел впереди в направлении вокзала...

Рестораном эта убогая харчевня лишь называлась. За годы разрухи она обветшала, стиль услуги изменился до положения самой захудалой пивной, ассортимент блюд состоял из трех наименований: яйцо под майонезом, котлета по-полтавски, напиток «море», — водкой торговали в буфете по «свободным» ценам. — Все это давно распространилось по земле русской и потому несколько не подивило вошедших.

— Маруся, — просто и уважительно, будто знакомы вечно, сказал приятель буфетчице, — нет ли у тебя в запасе консервированного балычка севрюжки, а то у Вани живот от котлет пучит, — чем, понятно, предрасположил к себе вниманием.

— Я вообще-то не Маруся, — жизнерадостно отказала

торговка, — а Саша. Это вы меня с напарницей спутали, ну да ничего, бывает. Все равно видно: хороший человек, да и товарищ, — подмигнула Ване, — мужчина видный... Словом, садитесь в углу за столик, я сама принесу.

Они сели в углу. Закурили, хотя на стене под огромным полотном «Заседания Совнаркома» светилась люминесцентного краскою табличка «Курение строго воспрещается». Кроме них, в зале сидели еще двое: он и она, — молодые, грустные: должно быть, прощались.

Курили молча, но серость с лиц спала. Весьма скоро появилась Саша с подносом, с полотенцем, как встарь, на руке и стала накрывать стол по старинному обряду...

— Надо же, — не удержался от замечания приятель, — еще не забыли правила, Саша.

— Отчего ж забыть, — улыбнулась вежливо буфетчица, — по Сеньке и шапка. Не слепая, вижу, кто заказывает. Вас, Антон Иванович, помнят все пути сообщений...

— Так уж и все, — подыграл ей Антон Иванович...

— Все-все, — загорелась румянцем Саша, — такое не забывается. Приятного аппетита, — завершив сервировку, пожелала буфетчица и споро отправилась к месту службы.

— Гм, — промычал Антон Иванович, откинувшись на спинку стула, впав на мгновение в забытие.

— Давай за память, — предложил Ваня, подняв рюмку.

— Давай, — ответил Антон Иванович, — только не всегда в ней складное выходит, — и, не чокаясь, что принято, по обыкновению, опрокинул ее до дна, покривился: крепка-де, отломил кусочек дарницкого, занюхал им, посыпал его солью и съел, страстно и вдохновенно съел, тогда как Ваня спешно закусывал крабовыми палочками и балыком, приговаривая: «Хороша ж наша севрюжка, хороша». — Хороша, — возразил Антон Иванович, — да теперь не скоро наша. Она скорее уж как память. Вот строили мост через Северную Двину, жили, сам знаешь, в бараках. Вернешься вечером, затопишь буржуйку, сваришь картошки в мундирах и набьешь утробу вперемежку с соленым омулем, запьешь крепким чаем, вытянешься на нарах, блаженствуя, распарившись, а за стеною вьюги ходуном ходят-воют и такая в тебе понятность завтрашнего дня в глазах, в уме, в сердце, а в конце, радио: «Сообщение ТАСС: сегодня пущен первый поезд по крупнейшему в Европе мосту через Северную Двину в районе...» — тут тебе и радость, тут тебе и печаль, потому что впереди Обь и Москва-река, Днепр и Волга, а ты за годы уже свыкся с севером, с его стужей, с его ягодниками и островами, но тебе ведомо, что впереди новое, первое, еще

загадочное, но обязательное и нужное, и ты в нем не случайность, а закономерность, которой несть конца... А вышло все напротив тому...

Они помолчали. Ваня налил по второй: «За будущее», — снова сказал тост.

— За будущее, — согласился Антон Иванович и обернулся лицом к Шуре, что смотрела на них из-за стойки: — за твое, — громко, на весь зал, — Шура, будущее. Будь здорова!

— На здоровье, Антон Иванович, — нежно и уважительно поклонилась буфетчица...

Меж тем, время не торопило приятелей. Они со вкусом закусывали, курили, молчали. Водка их несколько умиротворила. Они с интересом смотрели полотно «Заседание Совнаркома», которое продолжало висеть со старого времени, на картине персонажи внимали некрикливому покойному выражению лица вождя нации И.В. Сталина.

— Маленький, тихонький, — вслух заметил Антон Иванович, — а весь мир прислушивался к его разуму: и высоко, и страшно! чтобы мы там ни рассуждали, а построить общество равных возможностей — это тебе не равные права человека, когда они ничем не обеспечены. Слаб человек и хищен, и потому легкомыслен и развращен, невежествен и антирелигиозен...

— Ну, это уж чересчур, Антон Иванович. Все мы грешны...

— Грешны, Ваня, — согласился приятель. — Вот и Шура глядит та нас своими полевыми, синими васильками из-за стойки, меня помнит, а за что?

— Антон Ивановича вся страна знает, — засмеялся Ваня.

— Нет, — вздохнул собеседник, — неправда. Строили мы, Ваня, здесь с тобой дамбу. Ты жил в городе с супругою на квартире, а я, как помнишь, отшельником в шалаше на острове, где стояли дворы бакенщика вдового с дочерью и отставного судоходного капитана холостяка, — говорил негромко, закинув голову к потолку, уставив взор на асбестового ангелочка. — Никогда в своей жизни я не занимался ни рыбной ловлею, ни охотой, ни сбором грибов и ягод. И потому, живя на острове, большей частью подолгу сиживал над мерным плеском волн, слушал чаек или пялился на небо, что, как известно, нигде не повторяется, а иногда гостил у капитана: гонял чаи, спорил на предмет о полезности нашего отечественного мостостроения или слушал байки о дальних походах. Капитан, надо сказать, был хорош собою и крепко образован, да к тому же и рассказчик отменный. Сиживали и с бакенщиком, но совсем редко и

непрерывно под водочку, — и смолк, опустив голову.

Ваня не сразу нашелся, закурил и предложил папироску Антону Ивановичу. Когда спичка горела перед лицом Антона Ивановича, запалившего папироску, Ваня впервые заметил за долгие годы их знакомства, что, хотя тот давно не первой молодости и крепко потрудился на веку, но по-прежнему красив, а следовательно, и памятен женщинам.

Антон Иванович заметил остановку приятеля на своем лице и не преминул сказать:

— Да не в коня корм, — и снова стал пристально рассматривать картину на стене и комментировать увиденное. — Казалось, все у человека есть: страна, Мир, — а своя, личная жизнь не задалась. Походи, попробуй разобраться: эгоист? тиран? — но в чем? в том, что всю жизнь положил на алтарь Отечества? в том, что под его непрерываемую силой воли оно достигло небывалого в истории человечества гражданского мира? что не имел личного счастья? Что безумно любил своих детей, но ввиду сложившихся обстоятельств вынужден сжигать до тла в себе эти чувства? — Вот она загадка природы. Давай, Ваня, на посошок: за нашу Родину!

— Давайте, Антон Иванович, а то, верно, литерный с минуты на минуту будет, — согласился Ваня.

Они чокнулись, выпили и тотчас, не закусив, встали.

— Ты, Ваня, иди, а я расплачусь и выйду за тобой, иди, — негромко, но столь настойчиво сказал Антон Иванович, что приятель не стал перечить.

Буфетчица сама вышла навстречу из-за стойки, кроткою и смиренною. Антон Иванович, напротив тому, держал голову высоко и смотрел Шура прямо в лицо. Взгляд его был настолько сильный, что даже провожавшаяся парочка оглянулась недоуменно на них...

— Со свиданием, Антон Иванович, — шепотом молвила Шура, — столько минуло лет, а я вас все едино сразу признала...

— Прощай, Шура, — не опуская твердости взора, крепко стиснув ее за локотки, исправно повернулся, нещадно положил деньги на стойку и вышел прочь на перрон.

...Было темно. Моросил противный мелкий дождь. Вокзальные фонари из-за кризиса не зажигали. Ваня курил папиросу. Антон Иванович тоже закурил. Они молча прошли по платформе к светофору, и сразу за ними станцию широко обдал светом забегавший на стрелку литерный.

— Давай прощаться, — сказал Ване Антон Иванович, и

они, два давних приятеля, просто, по-русски, обнялись и троекратно облобызались. Вдруг машинист из окна крикнул: «Забегай, Антон Иванович, не то оставлю», — и он забежал на подножку тепловоза, а Ваня, с чувством выполненного долга, вернулся в ресторан, выпил за здоровье отбывшего и сказал про него Шура: «Станный он все ж особь: собой ничего, ученый, инженер, даже каждый машинист его знает, а с женщинами никак: боббль».

— Боббль, — буркнула исподлбья Шура. — Закрываемся. Тоже мне, знаток. Пить меньше надо, боббль. Закрываемся!

...Шел дождь. Шли грустные: Ваня в город к жене и Шура на остров, где жила она и были две могилы: бакенщика и судходного капитана.

ПОЭЗИЯ

Игорь ЧЕРНУХИН

ПЕЧАЛИ У РУССКОГО НЕТ

ТЕРПЕНИЕ

А печали у русского нет.
Нет и горя —
 давно притерпелось:
И война, и сума, и навет,
Да и прочая пакость и ересь.
В русском доме застолье и смех,
Льются громкие речи в светлице.
Лето жарит ли, падает снег —
Не робеет мужик, веселится.
Утром встанет и посох возьмет,
И уйдет во широкое поле,
А на поле пластом упадет,
И, как волк, зарыдает на воле.
По судьбе перекаточной своей,
По земле, по ее убиенным...
Он простит за измену друзей,
Но себе не простит он измены.
Хлынет темная кровь к голове.
Вскинет к небу он жаркие очи,
И уснет, словно скиф, среди ночи
На воскресшей из мрака траве.
Черный ворон его облетит,
Зверь не тронет, пройдет стороною,
И над спящим —
 под низкой луною
Мертвый ветер во тьме прогудит.

ОСЕНЬ ВИСОКОСНОГО ГОДА

Россия вспрянет ото сна...

А.Пушкин

Давай, мой друг, махнем в леса.
Там листопад теперь, там осень,
Там опустились небеса
На кроны ясеней и сосен.
Там грустно дождик моросит,
Там воронье недвижно в стаях.
Как тихо нынче на Руси,
Как будто дремлет Русь святая.
В деревнях песен не слышать.
Тоска в домах, разор в хозяйствах...
Ну что от власти и безвластья
Земле российской дальше ждать!?
По городам ворчит народ –
Полуголодный, полунищий.
В его карманах ветер свищет,
А он «шумел камыш...» поёт.
Зато молчат по казино
Банкир с магнатом за рулеткой,
И пьют с путанами вино,
И смачно трескают креветки.
О, Боже правый, правый Бог,
Зачем являешь ты богатых,
Зачем даешь им власть и золото,
Не хлеб насущный, а пирог?..
Россия, Русь – «страна господ»! –
Ты спишь давно и напряженно...
Когда ж проснется твой народ
И сбросит сплин с себя тяжелый?..
Когда возьмется за топор,
Разрубит русский узел старый?–
Чтоб на Руси был царь – не барин,
А барин с деньгами – не вор!
Чтоб каждый жил легко и просто:
Хлеба растил и сталь варил,
И не о золоте –
о звездах
Мечтал... и с небом говорил.
... Придет, я верю, этот день,
И озарит весна Россию!..
Пока ж в ней осень – хмарь да темь,
От воронья в небесной сини.

Уйти в леса... Забыть галдеж
На рынках, улицах, в трамваях,
И обрести п о к о й сквозь дождь
И в о л ю призрачного рая.

КРЕЩЕНИЕ

Гадать нелепо в дни сквозные.
Нелепо слушать горожан:
— Россия гибнет. Нет России!..
Мороз. Крещение. Туман.
Святи водицу вместе с людом,
И пей... и с небом говори,
Но что за женщина? Откуда?
Зачем зовет в поводыри?
Я сам незряч. Я сам потерян.
В те окаянные года!..
Я не приду в высокий терем,
Не брошусь в ноги никогда.
Что в нем?
Забыл я постепенно
Её глаза, её лицо,
Но имя мягкое — Елена
Во мне живет, как грусть лесов,
Как горький дым от листьев сада,
Как убежавшая волна...
Вы тоже Лена?.. Что ж, присядем
И выпьем красного вина:
— За светлый праздник! За крещение!
Дай Бог, Елена! Дай вам Бог!..
Какое странное скрещение
Имен и судеб, и дорог!
В них столько общей есть печали,
Что глаз померкнет водоем.
Как пассажиры на вокзале
Мы все, мы все чего-то ждем.
Но ожидание опасно —
Земное время, как вода —
Мы вдруг поймем, что ждем напрасно —
Ушли все наши поезда.
Гадать нелепо в дни сквозные.
Нелепо слушать голос зла.
Она жива! Жива Россия! —

Снега. Крещение. Купола...
Стою один в просторном храме.
Небесный хор сошел с высот.
О них: о Еве и Адаме
Печально девочка поет.
Креститесь, русичи!
Крестите
Детей для жизни и любви...
...Моя душа – моя обитель,
Высокий храм мой на крови.
Святую воду пью смиренно,
Беру её в поводыри,
И настезь дверь:
– Пошли, Елена,
На снег, где ветер да фонари!
Смотрите, что за ночь над нами! –
Шагну, замру, чтоб не вспугнуть,
И слышу – в е ч н о с т ь под ногами –
Не снег скрипит, а Млечный путь.

ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ

Ночью проснусь от дрожи,
От одиночества тяжкого.
Душную сброшу рубашку –
Что это, Господи-Боже?
Снова приснилась мне женщина,
Нежная, жаркая. страстная,
Лживая, злая, опасная,
С дымом и ветром повенчанная.
Я разлюбил ее, Господи!
Я не хочу, чтобы более...
Память моя, как госпиталь
С кровью горячечной, с болями.
С верою в Бога...С надеждою
На исцеленье...С любовью.
Где же твое голубое,
Женщина в черных одеждах?
Чем тебя ч е р н о е радует?
Хвастаешь переменами?..
Вечно ты пахнешь изменами,
Горе моё неладное!
Траур по дням неубористым
Иль по любви нарисованной?
Видно, не мне адресована

Ты на земле этой горестной.
Я отгоню тебя мысленно.
Я сигарету искомкаю.
Грубо тебя из комнаты
За двери молча выставлю.
... Снова проснусь от холода,
От одиночества тяжкого.
В теплую влезу рубашку.
Вспомню волос твоих золото.
Грудь молодую, горячую,
Губы твои медовьи,
И помолюсь за здоровье
Женщины темной, незрячей.
И затоскую до дрожи
По близкой душе е д и н с т в е н н о й.
Может, и есть это истина,
Высшая истина, Боже?..
Господи! Сколько испытывать
Будешь меня сумасшедшего?
Дай мне её Пришествия —
Главного в жизни события!

ПРОЗА

Сергей ТРАХИМЁНОК

ПРОКУРОРСКАЯ КРОВЬ

Умер Серега Хрунов.

Об этом мне сообщил мой однокашник по юрфаку Леонов, позвонив по телефону.

— Елки... зеленые, — невольно вырвалось у меня, и связь неожиданно прервалась.

С Серегой я виделся последний раз лет десять назад, когда приезжал в Н-ск в командировку. Встретились мы мельком, перекинулись несколькими словами. И я обратил внимание, что он не по возрасту сед. Это не было странным. Он всегда вел напряженную жизнь человека, пытающегося всех вокруг выстроить под некий идеал. Потому не дружил с коллегами, бодался с начальниками. При всем этом он оставался милиционером, был опером угрозыска и опером хорошим.

Мы были знакомы с детства. А детство наше прошло в маленьком сибирском городе на тридцать тысяч жителей с названием Черноводск.

Когда мне было семь лет, и я готовился идти в школу, мои родители переехали на новое место жительства. Так я оказался в некоем поселке, сейчас его назвали бы микрорайоном, где жили работники маслозавода. Хотя сам маслозавод был уже за городом, поскольку его поглотил построенный молкомбинат. В пятидесятые прошлого века, как писали передовицы газет, «полным ходом шла реализация программы развития мясомолочной промышленности».

С мальчишками маслозавода я еще не познакомился, хотя знал, что они в контрах с кодлой ребятишек с соседней улицы — Рыбхозовской. Хотя, смешно сказать, рыбзавод тоже перенесли за город, и на территории «рыбхозовских» остался только рыбхозовский магазин.

Была макушка лета — июль. Стояла невероятная жара. Но до двенадцати дня на улице было вполне терпимо. Мать отправила меня в магазин за постным маслом, объяснив, что рыбхозовский магазин ближе, чем другие. Она понятия не

имела, что ходить в этот магазин маслозаводским ребятишкам было заказано.

Из магазина я вышел, прижимая одной рукой к туловищу бутылку с маслом, горлышко которой было заткнуто газетой, другая рука у меня была занята сдачей.

Неприятное чувство вдруг охватило меня. Это было чувство опасности. И я не ошибся. Из-за угла магазина, как горох, высыпало с десятков разновозрастных ребятишек. Все они в соответствии с сезоном были в разноцветных, выдавших виды майках, и одинаковых черных сатиновых трусах. Правда, и то и другое было настолько выгоревшим, что больше походило на серое.

На лицах их была неопишуемая радость, какая бывает у охотников, в ловушку которых попался тот, на которого эту ловушка настораживалась.

Но бить противника просто так было нельзя в соответствии с некими правилами уличного жития. Правильные пацаны не могли опуститься до такой низости. И один из них сказал.

— Я знаю его, он из маслозаводских.

— Ну и что? — возразил другой, которого я мысленно назвал Толстиком, потому что он был толст и имел карие глаза навывкате. — Он к кому-нибудь лез?

— Он ко мне лез, — не унимался первый, тогда...

Это «тогда» имело глубокий смысл, оно связывало моих противников некоей обидой, нанесенной им маслозаводскими. И именно она позволяла не впадлу нанести первый удар. А дальше в этой стае просыпался некий инстинкт молотить противника так, чтобы потом никто не мог сказать, что ты делал это плохо или, не дай бог боялся бить. При всем при том, действие это называлось весьма нейтрально — помолотом.

— Он не мог к тебе лезть тогда, потому что только приехал, — сказал Толстик.

— А ты откуда знаешь? — спросил его кто-то.

— Я все знаю, — ответил ему Толстик.

— Лез, лез, — настаивал первый.

— Не мог он к тебе лезь, — возражал Толстик, — докажи.

— Фуля тут доказывать, — ерепенился первый, — лез и все.

— Хватит базарить, у вас чего рук нет? — вмешался еще кто-то, озвучив уличный афоризм, услышанный видимо от

старших пацанов.

– Последнее дело, – сказал Толстик, – пацанов ни за что бить... Тем более, что у него руки заняты...

Слова его возымели действие, и толпа расступилась, давая мне с бутылкой постного масла уйти невредимым на свою территорию.

Осенью мы пошли в школу, точнее в школы. Рыбхозовские попали в восьмилетку, а большинство маслозаводских по территории – сразу в среднюю. Это еще более усилило наше разделение.

Так продолжалось два года. Пока судьба снова не переместила нас. Мои родители и родители Толстика построили, наконец, дома на новой улице. И мы оказались соседями. И только там я узнал его фамилию и имя.

У Толстика, тьфу, Сереги Хрунова были два старших брата и это, с одной стороны, позволяло ему иметь защиту от чужаков, но это же постоянно подвергало его неким притеснением внутри семейного клана со стороны более взрослых сородичей. А потому характер его формировался своеобразно. Наверное, потому он и стал правдолюбом и хранителем норм мальчишеского существования, которые сводились к ряду истин, таких как: бить ни за что – нельзя. Врать, чтобы избежать помолота, – тоже, и так далее.

После окончания школы мы оба были призваны в армию, но я служил в Москве, а Серега – в Н-ске, в милбате, как говорили в Черноводске, «в огородах».

Отслужив, он поступил в школу милиции, окончил ее и стал работать в одном из левобережных отделов милиции. Я к тому времени окончил юрфак и несколько лет работал адвокатом в н-ской адвокатуре.

В восемьдесят восьмом, когда все ждали прихода социализма с человеческим лицом, Серега разыскал меня.

Был он в милицейской форме, с погонами капитана, сказал, что у него возникла проблема.

– Излагай, – сказал я ему.

– Сведи меня с Леоновым, – произнес он.

С Леоновым мы когда-то учились в одной группе. Он работал в городской прокуратуре.

– Для ча? – спросил я его.

– Дело есть, – ответил он.

– А ты откуда знаешь его возможности?

– Я все знаю, – ответил Серега, – так же уверенно и

безапелляционно, как тридцать лет назад, во время нашей первой встречи в Черноводске.

– И все же?

– Ладно, тебе скажу, козла одного из прокуратуры наказать надо, совсем совесть потерял.

Мы поехали к Леонову.

Там Серега рассказал, что к нему коллега из соседнего отдела привел парня, с которого вымогал взятку за прекращение уголовного дела помпрокурора района.

– Статья? – деловито поинтересовался мой одноклассник Леонов.

– Сто семнадцатая.

– Ну, батенька, это же частно-публичное обвинение. Такие дела возбуждаются по заявлению потерпевшего. Такое заявление есть?

– Есть, – сказал Серега, – ваш коллега принудил мнимого потерпевшего такое заявление написать.

– Ну, если вы уверены в этом, то ваши начальники должны получить санкцию прокурора города на проведение операции, а все остальное дело вашей милицейской техники, – сказал Леонов.

– Мои начальники бояться идти за санкцией, – сказал Серега.

– А я причем? – спросил Леонов.

– Я скажу им, что консультировался у вас.

– Ну, я еще не прокурор города, – ответил Леонов и продолжал, – и вряд ли им буду в обозримые пятьдесят лет.

– У вас репутация порядочного профессионала. А это действует.

Надо сказать, что Леонов, несмотря на свою молодость, тоже был правдолюбом и, наверное, это было известно Сереге.

– Ну, если это подействует, тогда свирепствуйте, – сказал Леонов.

И Серега с коллегой снова пошел к начальству. Но начальство не хотело ссоры с прокуратурой. Однако Серега дипломатично намекнул, что он уже консультировался с сотрудниками прокуратуры, и назвал фамилию Леонова.

– И что сказал Леонов? – поинтересовался начальник райотдела.

– Он сказал, что это обычное дело, и прокурор города заинтересован в том, чтобы оборотней в погонах было как

можно меньше, в том числе и прокурорских.

Намек на то, что Серега консультировался с Леоновым, возымел действие. Начальству ничего не оставалось делать, как идти за санкцией на операцию к прокурору города.

Но там вышла неожиданная заминка. Прокурор потребовал представить сотрудников, которые...

– Которые... хотят провести операцию, – попытался продолжить начальник райотдела.

– Да, – сказал прокурор города, – которые возжелали прокурорской крови.

На этой стадии дрогнул Серегин коллега, который, собственно, и был инициатором вывести взяточника на чистую воду. Он отказался от участия в операции, понимая, что любая промашка может стоить ему не только карьеры, но и службы.

И Серега поехал к прокурору города один. Точнее, со своим начальником. В кабинете прокурора города он изложил последнему ситуацию.

– Ваш сотрудник, – сказал он, – вымогает взятку.

Но прокурор города не был бы прокурором, если бы не выяснил всех деталей, и Серега был подвергнут квалифицированному допросу.

– Как вы узнали об этом? – спросил прокурор.

– Мне рассказал об этом коллега.

– А почему этого не сделал сам коллега?

– Он не верит в то, что ситуация разрешится в соответствии с законом.

Серега выбрал правильную тактику, если бы он сказал, что-либо о справедливости, то прокурор вряд ли понял бы его. Справедливость – не прокурорская категория.

– А вы, значит, верите?

– Безусловно, – сказал Серега.

– Взятчик назначил срок?

– Да, но мы тянем, говорим, что еще не собрали денег.

– Вы – это Вы и возможный потерпевший?

– Да.

– А скажите, мне... капитан, инициатива проведения операции исходила от Вас или... от потерпевшего?

– Потерпевший обратился за помощью к нам, – дипломатично ответил Серега.

– Как вы собираетесь проводить операцию?

– Тривиально, – ответил Серега, – мы вручаем

потерпевшему меченые купюры, а потом задерживаем с поличным, изымаем купюры и фиксируем их процессуально.

– Процессуально, – повторил прокурор, поднялся из-за стола и подошел к окну, – процессуально...

Он некоторое время смотрел в окно, а потом сказал Сереге:

– Вы, капитан, свободны.

Сергея вышел из кабинета. Был субботний день, в приемной прокурора города никого не было. Серега закрыл внутреннюю дверь кабинета, но внешнюю дверь тамбура оставил открытой.

– Проводите мероприятие, – сказал начальнику райотдела прокурор города, и готовьте документы на увольнение этого правдолюбца. Если ситуация сфабрикована или операция провалится... в тот же день представление о его увольнении мне на стол.

– Возможно, он откажется... – начал начальник отдела.

– Это уже ваши проблемы, – ответил прокурор.

Продолжение разговора было уже в кабинете начальника отдела, куда Серега переместился на общественном транспорте, поскольку начальник в машину его не взял.

– Прокурор сказал, что тебя нужно увольнять, если ты не откажешься, – сказал ему начальник.

– Основания? – спросил Серега.

– Дискредитация надзорных органов, – заявил начальник.

– Я не знаю такого основания, – ответил Серега, – разрешите приступить к операции.

– Приступай, – сказал начальник, а потом добавил, – те... С человеком, который уже одной ногой вне системы, всегда нужно говорить вежливо и официально.

Сергея не знал, что начальник уже отдал распоряжение и потерпевшего «с собаками» ищут коллеги, дабы убедить отказаться от участия в операции. Но Хрунов не был бы Хруновым, если бы не предусмотрел подобных действий со стороны коллег. Он еще до посещения прокурора города спрятал потерпевшего у старшего брата на квартире.

Разумеется, шансов того, что операция закончится удачно, при таком мощном противодействии у Сереги было мало, но помпрокурора настолько уверовал в свою безнаказанность, что не почувствовал подвоха и попался в расставленную Хруновым ловушку.

Серёгу не уволили, но и героем того времени он почему-то не стал. Хотя, одно время его за глаза называли «ловцом прокуроров», а рассказ о нём для молодых милиционеров в отделах на левом берегу начинался словами:

– Тут было один наш сотрудник «возжелал прокурорской крови»...

Единственным дивидендом Серёги после той операции стала дружба с Леоновым...

Телефон вновь зазвонил...

– Ты чего трубку бросаешь? – спросил Леонов.

– Это не я, это связь такая.

– Ты понял, о чём я говорил?

– Да, – ответил я, – жалко Серёгу, а где он работал последнее время?

– Там же, – сказал мой одногруппник, – на левом берегу.

– Слушай, – спросил я, – в каком звании он был в последние годы?

– В капитанском, – ответил Леонов, – в каком ему ещё звании быть?

РОДНАЯ КРЫВИНКА

Заседание кафедры закончилось поздно, и Галина Ефимовна или, как ее звали студенты, доцент Прошкович, опоздала на службу в Соборе Петра и Павла. Когда она появилась в церкви, прихожане уже расходились. Она купила свечку, поставила ее перед иконой Скорбящей Божьей матери и помчалась домой, чувствуя вину за суету, с которой она все это сделала. Чтобы успокоить себя, дала слово завтра прийти пораньше, отстоять службу и помолиться...

Проехав на метро до конечной станции, она долго ждала автобус, понимая, что чем дольше его не будет, тем труднее будет в него втиснуться и придется ждать следующего. Но получилось иначе, стайка молодых парней ринулась к открытым средним дверям, и Галину Ефимовну внесло в салон, а потом притиснуло к какому-то мужчине, от которого пахло крепким табаком и только что выпитой водкой.

В своей жизни Галина Ефимовна не раз сталкивалась с таким запахом, но сегодня она почему-то вспомнила, когда почувствовала его впервые. Этот запах исходил от Павлука, полиция из соседней вески*...

* * *

В начале войны ей было четыре года, но она не помнила того, что все вокруг называли началом войны, она словно отсутствовала где-то до сорок второго года.

Маленькая Галя смотрит в окно, в котором виден кусочек леса с желтыми мелколистными березами и зеленеющими между ними елям.

Посия-а-ла огиро-о-чки, низко на-а-д водо-о-ю,
Сама бу-у-ду поли-а-ваты, дрибною-у слезою...

...поет отец, ловко управляясь шилом и иглой: он подшивает старые валенки. Пара новых валенок лежит рядом.

Немецкое командование довело до сведения всех жителей приказ об очередной сдаче теплых вещей и валенок. Отец с

* Веска – деревня

матерью решили себе оставить валенки старые, а две пары новых сдать. У отца был хороший полушубок, его, от греха подальше, спрятали на горище.*

Починив старые валенки, отец идет на сборный пункт в деревню, где стоит немецкий гарнизон, она в семи километрах от Заболотья. Пока отца нет, мать, подумав, прячет на дно большого куфэра** еще одну дорожную в хате вещь — пуховую шаль.

Павлюк появился на следующий день. Одет он был в черный бушлат с серым воротником и обшлагами... Два ряда металлических пуговиц, ремень. За спиной короткая винтовка.

— Карабин, — сказал брат Степка, которому тогда было восемь лет, но в оружии он разбирался лучше старшей сестры Наташки и матери.

Это необычное, как у большинства жителей близлежащих деревень, одеяние придавало ему вид нездешний и уж, конечно, не домашний. Вместе с ним был еще один полицай, одетый так же как и Павлюк, но ростом поменьше и помоложе.

Отца в хате не было. И мать встретила Павлюка в штыки.

— Чего явился?

— Службу справляю, — ответил он.

— Яку службу?

— Где полушубок? — прервал он мать, не желая продолжать пустой, по его мнению, разговор.

— Якой полушубок?

— В якому Яхфим прошлую зиму ходил, — сказал Павлюк, передразнивая мать.

— Нету полушубка...

Павлюк снял с плеча карабин, передал его напарнику и полез по лестнице на чердак.

Отец прятал полушубок в расчете на то, что немцы его не найдут. Но там, где можно ввести в заблуждение оккупантов, трудно обмануть местных. Уже через минуту Павлюк спускался по лестнице с полушубком подмышкой.

Мать ухватилась за воротник и стала с остервенением вырывать его.

— Отдай, — говорила она. — Ты его шил? Ты его наживал?

Павлюк мотнул мать в одну сторону, а потом в другую и легко вырвал полушубок

— Тетка Ходора, — сказал он, — будешь обманывать

* Горище — чердак

** Куфэрак — сундук

новую власть, дети сиротами останутся.

Он бросил полушубок на плечо напарнику и схватил маленькую Галю подмышки. Мать мгновенно забыла про полушубок и бросилась выручать дочь. Но Павлюк повернулся к матери спиной и подбросил Галю в воздух так, что она едва не ударилась головой о потолок.

Все произошло очень быстро, и Галя не успела даже испугаться. Она только помнит, как взлетела в воздух и снова попала в крепкие руки Павлюка. Именно в этот момент и ударил ей в нос этот табачно-водочный запах.

Павлюк поставил девочку на пол и сказал матери:

— А Яхфиму передай, что он у меня должник.

Домой на Юго-Запад Минска Галина Ефимовна приехала к девяти часам. Открыв дверь своего подъезда, она пошла к лифту и натолкнулась на парочку, которая целовалась в углу лестничной площадки.

— Хм, — произнесла Галина Ефимовна, но молодежь не обратила на нее внимания, не прервала своего занятия, не смутилась, как это должно было случиться, по мнению Галины Ефимовны.

Кашлянув еще раз для приличия, Прошкович дождалась прихода лифта, чувствуя спиной все, что происходит на площадке, поднялась на восьмой этаж и позвонила в двери своей однокомнатной квартиры.

— Иду, иду, — раздался за дверью голос Алеськи, внучатой племянницы, которую она готовила к поступлению в вуз.

Алеська повернула ключ и дверь распахнулась

— Привет, Алеська Александровна, — сказала Галина Ефимовна, — как гранит науки?

— Грызем, тетка Галя, грызем, — в тон ей ответила племянница. Она никогда не называл ее бабкой или бабушкой. А Галине Ефимовне это в некоторой степени импонировало.

— После ужина поработаем, — ответила та и стала раздеваться.

Алеська поступала в институт второй раз, в прошлом году она не прошла по конкурсу. Наученная горьким опытом, она заранее приехала к Галине и готовилась к экзаменам под руководством строгой родственницы. Алеська во всем внешне подчинялась требовательной бабке, но Галина Ефимовна чувствовала, что не стремление к знаниям

привело в Минск Алеську. Если бы та могла остаться в столице без поступления в вуз, она не преминула бы сделать это. Но ее отец поставил перед ней задачу поступить в столичный вуз, только он, по его мнению, мог быть основой будущего благополучия дочери.

Заболотье называлось веской, хотя в ней было всего три дома. И стояли эти три дома вовсе не за болотом, а рядом с болотом. Но кому в голову пришло так назвать этот хутор веской, непонятно.

Хата Прошковичей стояла крайней, рядом с ней была хата Ганы Болотки, а за ней, уже с другого края, — бабки Теклы, которую все чаще всего звали Куделихой.

До войны в каждом дворе были корова, поросята, овцы, куры. Ко дворам примыкали огороды. Кроме того, близость с одной стороны болота, с его брусникой и клюквой, а с другой — леса, с его ягодами и грибами, давала заболотцам неоспоримые преимущества перед жителями больших сел и райцентра.

Но прекрасным это место было в мирное время, а у военного времени своя логика. С началом войны Заболотье оказалось между молотом и наковальней, с одной стороны, немцы, не без причины подозревали его жителей в связях с партизанами, с другой стороны партизаны, своими посещениями ставили их на грань жизни и смерти.

Словно опасаясь, что там, за пределами дома, детей подстерегает опасность, мать не выпускала маленькую Галю дальше двора, тогда как старшая сестра десятилетняя Наташка и восьмилетний брат Степка таких ограничений не имели.

Наташка даже ходила какое-то время в школу, которую открыли немцы. И первые дни ей это нравилось. Но потом учитель отодрал ее линейкой и отец сказал, что Наташка в такую школу больше не пойдет.

Отец и старшие дети занимались хозяйством: работали в огороде, Степка управлял корову, Наташка давала корм курам.

У коровы на лбу было большое белое пятно и за это она имела кличку Лыска.

Может быть, потому, что мать запрещала одной Гале выходить со двора, жизнь за изгородью казалась девочке таинственной и необычайно интересной.

Особенно ей нравилось бывать в гостях у соседей. Правда,

их дворы и дома, как две капли воды, были похожи на хату Прошковиной. Но внутри их, наряду с печкой, полатями, пристройками к печкам, которые назывались канапами, кроватями-лежками, были вещи, которых не было у Прошковиной.

У Ганы старинное зеркало – люстерка, в почерневшем от времени деревянном окладе, узорные абрусы* и сурветки.** У Куделихи прялка и кросны, а также широкие деревянные лопаты, которыми бабка ставила и вынимала хлеба из печи, а также необычного узора половики и постилка на кровати – ложке.

Справа на одном из болотных островов стоял отряд Бородин. Он был командиром Красной армии, оказался в окружении, а потом возглавил отряд, который входил в партизанскую бригаду «Смерть фашистам». Когда приходили его ребята, они всегда спрашивали: не заглядывали ли к нам Кондрат.

Кондрат был командиром другого партизанского отряда. И отношение к нему было совершенно иным. За Кондратом тянулся шлейф каких-то мифов, необычных поступков, которые приводили в ужас жителей Заболотья и близлежащих сел, в результате чего, имя Кондрата всегда было на языке у жителей Заболотья. Поговаривали, что он не нашел общего языка с командиром партизанской бригады «Смерть фашистам» и ушел с группой своих бойцов в болота, создав свой отряд. Причем он занял место, которое комбриг берег для так называемого гражданского лагеря. Лагеря, в котором могли жить семьи партизан, которые ушли из своих сел, опасаясь преследования оккупантов, за то, что их мужья и сыновья стали воевать с оккупантами.

Вдобавок он был местный, и так же как и Павлюк, знал всё и вся. Говорили, что он бросил семью и женился на городской женщине, которая была родом из Ленинграда. Говорили, что он после партизанских акций оставляет записку «батька Кондрат», а также расстрелял двух бежавших из лагеря военнопленных только потому, что подозревал их в том, что их направили к нему немцы. Основанием для таких подозрений было то, что руки этих людей были без мозолей.

А еще он явился на вечерку со своим адъютантом Васьком и «мобилизовал» к себе в отряд молодых хлопцев, которые

* Абрус – скатерть

** Сурветка – салфетка

оказались там.

Как-то между прочим, и между делом, раньше или позже все, что творилось в округе: и немецкие облавы, и партизанские вылазки становились известными. Сначала об этом говорили родители, потом обсуждали между собой Наташка и Степка, и из этих отрывочных суждений у Гали складывалось собственная картина той жизни и тех событий.

Галина Ефимовна заканчивала ужинать на кухне, когда Алеська завелась петь в комнате.

Посея-а-ла огиро-о-чки низко на-а-д водо-о-ю,
Сама бу-у-ду полы-а-ваты дрибною-у слезою.

Ра-а-сти, р-а-асти огирочки в четыре-е-е листочка
Не бачила миленького четыре-е-е годо-о-чка.

Голос у Алеськи ангельский, поет она «Огирочки» с украинскими интонациями и словами, прямо как когда-то делал это отец Галины. У него был абсолютный слух, и, как теперь понимает Галина, способности к языкам. В детстве он окончил всего несколько классов сельской школы и далее всю жизнь учился сам. Еще с первой мировой у него была повреждена кисть левой руки. Однако он лихо управлялся одной рукой и даже валенки подшивал и сучил дратву, помогая себе то больной рукой, то плечом, то зубами. Перед войной он был бригадиром в колхозе. С оккупацией колхоз перестал существовать, и отец нигде не работал.

Обладал он и прекрасной памятью. Знал много песен и сказок. Без акцента мог говорить по-русски и по-украински. Причем сочетание «по-украински» он произносил не на русский манер, а так, как говорят на Украине, с ударением на второй слог. Песни пел белорусские, но мог исполнить их по-украински. Так они звучали совершенно иначе, и такое непривычное и необычное звучание переворачивали душу маленькой Гали.

Удивительно, но ни дочери, ни сын Степан не унаследовали его слуха и голоса. А вот в Алеське он словно повторился.

А на пятый побачи-и-ла, як череду гнала,
Не посме-ела сказать: «Здравствуй», бо маты сто-ояла.
Бо маты-ы стоя-а-ла, а батько дыви-и-вся,
Як мой ми-и-лый, чёрнобри-и-вый, на коня-а-а са-адився.

Алеська поет, а у Галины Ефимовны на глаза наворачиваются слезы, и она понимает, что никаких занятий с Алеськой сегодня не будет.

Она оставляет в раковине невытую посуду и идет к Алеське, садится на диван, а та обхватывает ее руками за талию.

— Вот видишь, — говорит Галина, — с милым заговорить боялись на глазах батьков, а сейчас...

Она хотела сказать, что сегодняшние молодые тискаются по подъездам, но сдержалась: понимала, что Алеська, опять же, внешне согласившись с ней, внутренне будет против, поскольку, по ее мнению, это не такой уж большой грех, если не сказать большего, вообще не грех.

Летом сорок третьего Степка под большим секретом рассказал Гале что, хлопцы Бородина едва не перестрелялись с хлопцами Кондрата, поскольку и те, и другие заказывали выпечку хлеба у бабки Куделихи.

И Куделиха, рискуя жизнью, пекла партизанам хлеб. Причем делала она это только по ночам, потому что днем мог нагрязнуть Павлюк.

— А еще, — говорил Степка, — в доме у Ганны Болотки была партизанская свадьба, там пели, танцевали и пили самогон.

Самогон гнали все, он был чем-то вроде жидких денег. Такой же разменной монетой была махорка. И то, и другое старались иметь в запасе. От тех же полицейев без самогона не отделаться. Соседка Ганна как-то пошла в райцентр в лавку за махоркой. Сразу же в лавке ее поймали.

— Мужа нет, дети малые, значит, махорка для партизан, — сказал ей полицейай и отвел в какой-то сарайчик, местную тюрьму.

Ганна не особенно огорчалась, — разберутся. Однако один из сокамерников сказал, что полицейаям наплевать на то, кому ты покупаешь махорку. Им надо выслужиться перед немцами и представить тех, кто связан партизанами.

— Так что, девка, — сказал он, — дела твои плохи. Но ты не голоси, а попросись до ветру, а в уборной две доски отходят, если выберешься незаметно, — тебе повезло.

Ганна так и сделала. Она выбралась из уборной, проползла балкой подалее от места своего заключения и, дождавшись темноты, пришла в Заболотье.

— А еще, — говорил Степка шепотом, потому что отец обратил внимание на их разговор, — ночью приходил сам Бородин. Он с батькой говорил. Потом попросил у матери две тряпки на портянки. Мать стала копаться в куфэрке и оттуда выпала Библия, это книга такая про Бога. Бородин посмотрел на нее, полистал и сказал, чтобы она спрятала ее подальше, а то ребята на самокрутки изведут.

Отец, словно почувствовав, что до дочери дошло то, чего ей знать еще рано, говорит:

— Степка, геть на двор, корове сена дай.

Потом он подошел к лавке, где сидела Галя, сел рядом и начал рассказывать сказку.

Каля рэчэчки Дняпра
Там хадила удава,
Там хадила удава.
Тай забачыла яна,
Тай на яваре арла.

И маленькая Галя тут же забыла рассказ Степки и перенеслась туда, где милый друг вдовы сражается с турками:

Ён с турками ваюе
По каленички в крыве.

Ужас напал на Галю при этих словах, но дальше было еще страшнее. И рубашечка на молодце «уся ускипела от крыви».

И настолько образно Галя представляла себе «вскипевшую» от крови рубашку, что со временем стала бояться крови. И когда у них появилась Лизка, и когда мать впервые назвала ее «родной кривинкой», Галя не могла отделаться от чувства, что это название когда-нибудь принесет Лизке беду.

— Тетка Галя, — говорит Алеська, — а дед Степан старше тебя?

— Старше.

— А он был партизаном?

— Нет, он тогда был маленький.

— Ты же говоришь, что он старше тебя?

— Ну не настолько, чтобы воевать в партизанах.

- А ты видела партизан?
- После войны.

Галину Ефимовну удивляют эти вопросы. Хотя, чему удивляться, наверное, для Алеськи бородатый дед Степан жил в те стародавние времена, в какие все могло случиться.

- А он не носил донесения партизанам?
- Нет, их носила тетка Наталья.

– Тетка Галя, а кого вы боялись больше, партизан или полицаев?

– Вот те на, партизаны были свои, а полицаи служили оккупантам. Кого нам было бояться? – отвечает Галина Ефимовна, чувствуя, что вопрос ее покоробил.

– А дед Степан говорил, что партизаны у вас корову увели.

- Это были не партизаны
- А кто?
- Вооруженные люди, бандиты...
- Да, а дед говорил...
- Что мог запомнить дед, он был ребенком.
- А ты, ты тоже была ребенком, ты запомнила?
- Да.
- Но ты же была еще меньше.
- Зато я была впечатлительней. Ну, хватит о грустном, посмотри телевизор, а я помою посуду.
- Я сама помою.
- Ты помоешь завтра, а сегодня это сделаю я. Иногда это занятие отвлекает от ненужных мыслей.
- Ты прям как Агата Кристи.

Галина Ефимовна уходит на кухню, включает воду и начинает механически намывать тарелки, ложки и чашку, слыша, как Алеська переключает каналы «Горизонта».

Отец с утра натопил печку, сварил картошки и вся семейка, за исключением матери, сидит за столом, на котором лежат деревянные ложки, а перед каждым несколько картофелин. Горячая картошка чистится плохо и Наташка и Степка незаметно пытаются отвлечь друг друга, чтобы похитить у соседа чищенную картофелину. Но отец настороже, короткий удар деревянной ложкой по лбу, и все становится на свои места: стол не место для игр и шуток. Правда, отец таким образом чаще всего наказывает Степку или Наташку, младшую дочь он милует, хотя она тоже участвует в этих шалостях. Тут ничего не поделаешь, если у

тебя украли бульбочку, нужно воровать у соседей, иначе те обнаглеют и будут это делать постоянно.

Галя чистит очередную картофелину и вспоминает вкус конфет, которыми ее угощал немец по имени Ганс.

Ганс приходил к ним несколько раз. Был он высокий, тощий и, несмотря на теплую погоду, ходил в шинели. Он долго бродил по двору, заглядывал во все углы хозяйственных построек, о чем-то говорил с отцом по-немецки. Из всех детей он почему-то выделял Галю. Брал на руки, давал круглые конфеты, говорил:

— Ин фатерлянд драй киндер.

После ухода немца отец усадил Наташку на табурет и, выпроводив всех из дому, сделал ей городскую прическу, накрутив косу на голове. Потом отправил с узелком к дальним родственникам в веску, что находилась в одиннадцати километрах.

Вернувшись обратно, Наташка рассказала, что спокойно прошла немецкие посты, и ее никто не остановил, потому что останавливали и проверяли только взрослых теток и дядек. В веске ей расплели прическу, извлекли записку, опять накрутили косу и отправили обратно.

Но, посмотрев на себя в зеркало, Наташка расстроилась. Оказывается Яхфим одной рукой смог заплести ее лучше, чем дядька из вески двумя руками.

Потом оказалось, что немцы проводили какую-то операцию, но кто-то предупредил жителей, и они ушли в лес.

Сразу же после этого пришел Павлюк с двумя немцами и каким-то гражданским типом. Тип стал допрашивать отца.

— Что тут делал Ганс?

— Приходил менять свечи на яйца, — ответил отец.

— Покажи свечи, — потребовал следователь.

Отец достал из шкафчика несколько свечей, завернутых в тряпицу.

Следователь задал еще несколько вопросов и ушел.

В доме несколько дней было напряженно, но потом все как-то успокоилось. Все обошлось, если не считать того, что Павлюк и его напарник вернулись и забрали последних курочек.

— А кто будет платить? — спросил отец, наблюдавший, как молодой напарник Павлюка сноровисто запихивает кур в мешок.

— А никто, — ответил Павлюк, — ты, Яхфим, у меня с прошлого года в должниках.

«Кто это так непривычно пищит? — думает Галя, просыпаясь, — на Надьку непохоже. У той голос значительно грубее».

Свесившись с печки, Галя видит, что мать сидит на лежанке и держит на руках сверток, который пищит и извивается как червяк. Галя начинает понимать — это младенец или, как говорили в веске, немовляти. Мать дает ему грудь. Писк на какое-то время прекращается.

Степка рассказывает Гале, что ночью приходил Кондрат с двумя партизанами и маленькой девчонкой. Он сказал отцу:

— Или забираем корову, или возьмешь девчонку.

Девчонку звали Лизкой, и было ей отроду несколько недель.

— Как жену зовут? — спросила мать Кондрата перед уходом.

— Тебе, тетка, какое дело?

— Время тяжелое, вдруг не придете за ней?

— Елизавета Кондратьевна она, — невпопад ответил Кондрат, но уже на выходе добавил, — а мать ее зовут Ксения.

Адъютант Кондрата Василек приходил несколько раз посмотреть, как мы обходимся с Лизкой, а потом перестал ходить.

Девочка была маленькой и слабенькой. На головке редкие волосенки и короста. Галя с Наташкой стали рассматривать ее, но мать сказала, что на маленьких детей нельзя смотреть так долго.

Мать кормила ее грудью, делала соски из хлеба с отрубями, мыла ее в отваре череды, мазала головку постным маслом, и через какое-то время все болячки Лизки прошли. А мать привыкла к ней и, поскольку Надька уже ползала и даже пыталась ходить, то на руках у нее чаще всего была Лизка. А уж после того, как Лизка стала агукать и произнесла первое слово «мама», Ходора назвала ее «родная кривинка».

Складывалось впечатление, что Павлюк знает все, что делается в Заболотье. После прихода Кондрата он был тут как тут.

— Яхфим, — сказал он, — война кругом, жрать нечего, а ты детей стругаешь?

— Бог дал, — сказал, отец, — на сметник не выбросишь.

* Сметник — помойка

— Кто из бабок роды принимал? — спросил Павлюк.
— Чего бабок беспокоить, я сам и принял, — ответил отец.
— Ну, ну, — сказала на это Павлюк, обошел все углы хаты, словно хотел найти доказательства того, что отец ему врет, и остановился, как бы вопрошая: «Что будем делать?»

Отец протянул ему старую торбу, в которой были кусок сала и бутылъ самогона.

— А выпить со мной не желаешь? — спросил Павлюк.
— Ты же знаешь, я хворый, — ответил отец, — не пью.
— Ну, ну, — сказал Павлюк, покачался с пяток на носки, и ушел.

И опять, как после визита Ганса, наступили тревожные дни ожидания несчастья. Но и на этот раз все обошлось. То ли Павлюк поверил тому, что сказал отец, то ли не хотел связываться с Кондратом, поскольку тот был свиреп и не простил бы ему этого.

А девчонка со временем стала своей в семье Прошкевичей. Наташка и Галя по очереди таскали ее на руках, и она позволяла это делать. Правда, всегда косила глазами, не далеко ли ее несут от матери. А так как чаще всего с ней приходилось сидеть Гале, то она освоила второе слово, и было оно отнюдь не «папа», а Галя, правда звучало оно как «Гайа». В остальном ее речь напоминала набор звуков, которыми она хотела высказать что-то ее волнующее. И когда до нее доходило, что ее не понимают, начинала обижаться и плакать. Ходить она так и не научилась, хотя к маю сорок четвертого ей был уже почти год. На руках у матери она тянулась к Гале и Наташке, но всегда настороженно реагировала на Степку и отца. Когда кто-то из Прошковичей — мужчин пробовал взять ее на руки или шевелили пальцами рук, приглашая ее, личико Лизки мгновенно сморщивалось, и она начинала плакать. В этот момент мать всегда поворачивала ее головкой к себе и успокаивала:

— Ну, ну, — говорила она, — не отдам тебя Степке, не отдам, моя, моя...

Через полгода после появления Лизки Прошковичи лишилась последней живности — коровы Лыски. Было это в начале зимы сорок четвертого. Удивительно, но молока матери хватало и Надьке, и приемной дочери. Правда, к тому

времени Надька уже смело пила коровье, тогда как у Лизки от него всегда начиналось расстройство живота.

В одну из январских ночей Галя почувствовала странную тревогу в доме и проснулась.

— Батька, — сказала мать, — никак к Лыске кто-то пошел.

Во дворе слышался хруст снега от чьих-то шагов, а затем раздался тяжелый вздох, так могла вздыхать только Лыска. Мать бросилась зажигать свет. Но только она чиркнула спичкой, как по окну ударила автоматная очередь, и все, кто был в хате, без всякой команды бросились на пол.

— Не шевелитесь, — сказал отец, — не поднимайте головы.

Но никто и не хотел поднимать голову, все лежали на полу и кожей чувствовали, как от них уводят их кормилицу.

Кто-то подошел к окну и заглянул внутрь. Затем он исчез. Отец заткнул разбитой окно подушкой, обмотав ее предварительно покрывалом от ложка.

Чуть рассвело, Степка и отец сходили в пуню. Лыски там не было. Все это было странно. Между хлопцами Бородина и Кондрата было некое соглашение не трогать живность у тех, кто имел много детей. Наверное, это была какая-то случайная банда мародеров.

— А может ее вернуть? — спросила Наташка на следующий день, — шаль ведь вернули.

Ни мать, ни отец на это ничего не ответили. А с шалью действительно приключилась удивительная история. Галя как-то простудилась, и мать, напоив ее кипятком, настоянном на сухой малине, закутала шалью и уложила спать на печку. А ночью у них ночевали два хлопца из отряда Бородина. Они ушли под утро, долго копались, одеваясь, не зажигая лампы и свечи. А утром мать с удивлением обнаружила, что куда-то исчезла шаль.

Но потом шаль принесли. Правда, это были другие парни. Впоследствии до Прошквичей дошли слухи, что об этом узнал Бородин и хотел расстрелять хлопца за мародерство, но тот сказал, что взял шаль временно, с согласия хозяев, и обязательно вернет им.

Почему Галина Ефимовна помнит лучше всего сорок четвертый? Может быть, потому, что он богат на печальные события, а может, потому, что ей тогда уже было семь лет.

Мать все больше привязывалась к Лизке, впрочем, как и та к матери. Ходора, пытаясь укрепить ей ножки, часто держала ее на руках, и та прыгала, упираясь в колени матери.

— Лиза, Лиза, Лизавета, — развесёлая кобета, — повторяла мать одну и ту же строчку какой-то песни.

Приближалось лето сорок четвертого. Все понимали, что скоро оккупации придет конец. Стали готовиться к тому, чтобы уйти в лес на время отхода немцев, так как боялись, чтобы они перед отступлением не отыгрались на местных за свое поражение.

Мать, словно предчувствуя скорое расставание с Лизкой, начала говорить о том, что Кондрат человек рискованный, он до конца войны не доживет, и тогда Лизка останется у нас.

— А Ксения? — спрашивал отец.

— А что, Ксения, — говорила мать и логика ее была настоящей женской, — она баба молодая, ей замуж надо будет выходить за городского, а кому она нужна с ребенком...

Но в одну из ночей мая к нам пришел Васек и сказал, что у Кондрата появилась возможность отправить Лизку и Ксению самолетом на Большую землю, но мать не отдала ребенка, и Васек ушел ни с чем. На следующую ночь явился сам Кондрат.

— Оставь ребенка, — говорила мать, — кончится война, тогда и придешь.

— Все, тетка Ходора, — сказал суровый командир, — мои приказы обсуждению не подлежат.

Мать начала суетливо собирать Лизку в дорогу. А та, словно почувствовав расставание, начала пищать. Тогда мать зашла за печку и стала кормить ее грудью, приговаривая:

— Все хорошо, ну, ну... моя, моя...

Но Лизка никак не могла успокоиться, наверное, тревога матери передавалась ей.

— Заворачивай ее, Ходора, — потребовал Кондрат

Мать запеленала Лизку и укутала сверху пуховой шалью.

— Ночью в болотах сыро, — сказала она, — не простудите ее.

И казалось, что все закончится благополучно, но в последний момент мать как с ума сошла. Первым это понял отец, он бросился к ней и обхватил руками, и придавил спиной к печке, иначе она выцарапала бы Кондрату глаза. Кондрат же направился к дверям, а Васек, как настоящий адъютант, прикрывал его отход, пятясь задом за своим командиром, выставив вперед шмайсер.

Слухи о дальнейшей судьбе Лизки были противоречивы. Говорили, что ее удалось отправить самолетом в Москву, а потом говорили, что самолет не прилетел, и ее передали родственникам Кондрата, которые после освобождения почему-то сразу же отправили ее в Ленинград.

Чуть позже узнали, что в том же мае погибла Ксения. А Кондрат уехал в столицу и в наши места не приезжал ни разу.

Наташка к пятидесятым годам стала уже взрослой и на постоянные приставания матери написать в Ленинград и разыскать Лизку сказала однажды, что Лизка живет в Ленинграде, и пошла в школу.

Мать тут же стала вспоминать о том, как быстро Лизка училась говорить и, конечно, была умненькой.

— Вот Надька, — говорила мать, — научилась говорить в два года, — а Лизка, она бы... А ты откуда это знаешь?

— Однокурсник по техникуму в Ленинграде справки наводил, — ответила, не моргнув глазом, Наталья.

С той поры все и началось. «Однокурсник» Натальи стал время от времени сообщать о житье-бытье Лизки. А мать долго жила каждой новостью, повторяла ее, комментировала каждое Лизкино действие.

Эта ложь во спасение потянула за собой серию других. Так, постепенно, Лизка росла, часто болела, лежала в каких-то детских больницах, но с честью справлялась с болезнями.

— Голодное детство, — говорила мать, — вот если бы ее свозить на юг.

Через год Лизка «стала ездить на юг», и ей «стало лучше». Но «эти поездки» породили другую опасность. Мать стала интересоваться: каким поездом Лизка ездит на юг?

— И чтобы ей не заехать к нам в гости, — говорила она, — ведь не чужие же мы ей. Вот ты, Галя, ее на руках таскала, хотя сама была до печки вершок...

Но Лизка так и не заехала к матери. А потом и вообще закрутилась: поступила в институт, окончила его с отличием, стала работать в каком-то важном учреждении. Потом вышла замуж. Но детей у нее так и не появилось. Наталья, ожегшись на «поездках Лизки на юг», интуитивно понимала, что мать может пожелать увидеть Лизкиных ребятишек, может попросить связаться с Лизкой, то есть Елизаветой Кондратьевной, и попросить ее привезти детишек на лето.

Потом с Натальей случилось несчастье. Они с мужем возвращались домой, и машина врезалась в грузовик, который выехал к ним на встречную полосу.

Когда горечь утраты по дочери немного утихла, мать опять стала вспоминать о Лизке. И тогда эстафета рассказов о жизни в Ленинграде Елизаветы Кондратьевны перешла к Галине. И Галина стала делать это так же, как и Наталья, с той лишь разницей, что осознавала греховность этого: в одну

из ночей ей вдруг пришло озарение, а не наказал ли Всевышний Наталью за эту ложь. Но остановиться было уже невозможно. Галина понимала, что мать этого не вынесет.

Рассказы о Лизкиной жизни Ходора принимала с гордостью и ревностью одновременно. И только однажды высказала ту мысль, которую предполагала когда-то Наталья.

— А вот родятся у Лизки дети, и будут ездить ко мне на лето. А что, у нас тут хорошо: лес, болота, грибы, ягоды.

Но Лизка «все время отдавала работе» и ей было не до детей. И тогда мать стала ее осуждать за то, что она не думает о детях.

— Наверное, ходит в пальто с горжеткой, — говорила она, — живет в многоэтажном доме рядом с Таврическим садом. А кто о ней позаботится, когда она станет старой?

Про Таврический сад мать знала из книжки, которая была у внука Сашки, сына Натальи.

И вот уже и дочь Сашки поступает в институт. Быстро летит время.

Мать переживала отсутствие детей у Лизки, не замечая, что семейная жизнь ее родной дочери Гали не складывается, что она разошлась с мужем и детей у нее, скорее всего, уже не будет.

Вчера опять был страшный день, о котором вспоминать не хочется. Во двор пришли какие-то странно одетые солдаты.

— Французы, — сказал отец.

На ломанном русском они попросили накрыть на стол. Отец поставил на скатерть стаканы, самогон, тарелку с квашеной капустой и большую миску с картофелем.

Увидев все это, гости разозлились.

— Партизан — большой картошка, нам — маленький, — кричал один из них отцу.

И тут случилось то, чего Галя не могла понять.

— Мы для своих детей готовили, а не для вас, — сказал отец, а потом добавил что-то на каком-то языке, похожем на воркование голубей.

Французы выскочили из-за стола и бросились к нему. А Галя, спрыгнув с печки, вцепилась отцу в ноги боясь, что французы его заберут. Так и стояла она, закрыв глаза, слыша, как кричит мать, и как о чем-то говорят французы, понемногу понимая, что интонации их речи не несут ничего страшного. Уже после войны Галя узнала, что в первую мировую отец был в плену и там научился говорить по-

немецки и знал несколько фраз на французском.

При всем том, что рацион семьи Прошковой был небогатым, дети, если и не были сыты, то большого голода не испытывали.

Из крапивы и щавеля варили суп, заготавливали грибы, даже подорожник и цветочки конюшины,* собирали, сушили, толкли в ступе, а затем они служили приправами и добавками к супам, борщам, болтушкам из муки и затиркам.

Но желание наесться от пуза присутствовало постоянно.

Со временем мать стала отпускать Галю в лес с Наташкой, а чаще всего со Степкой. Вот и сегодня Степка лазает по березам и собирает вороньи и сорочьи яйца.

Иногда он пытается поймать сороку, но в круглых сорочьих гнездах два входа и если ты всунешь руку в один, то сорока мгновенно выскочит из другого. С вороньими гнездами еще сложнее – они полностью открыты. Степка держит в зубах за завязки шапку, в которую он складывает голубовато-зеленые в крапинку яйца.

Вот он спускается вниз. Галя рассматривает добычу, радуется, что тонкие скорлупки не повредились. Степка разводит костер и в его золе печет яйца. Делать это нужно осторожно, чтобы они сразу не потрескались, не вытекли, не смешались с золой. Но все равно яйца всегда подгорают с одной стороны. Степка по-братски отдает Гале несколько штук из своей доли, а потом, откусывая принесенные из дому вареную картошку и хлеб, Галя с братом поедают добычу.

– Матери не говори, – предупреждает брат, когда они возвращаются домой, что мы сорочьи яйца пекли.

– Ладно, – отвечает Галя.

Впрочем, ей и в голову не пришло бы рассказать об этом матери.

Степка кажется ей большим и серьезным парнем, который всегда защитит ее от опасностей, и подводить Степку она не будет, хотя Галя до конца не понимает, что плохого в том, что они пекли и ели сорочьи яйца.

Степка шагает впереди, а Галя плетется за ним. И ей не страшно в лесу, потому что с ней ее старший брат, который, однако, совсем недавно чуть было не подвел всю семью.

Уже с первых месяцев оккупации у жителей весок сложилось негласная договоренность: в случае опасности всем находиться дома или в одном месте.

– Если уж случится что, так всем один конец, – повторяли родители.

* Конюшина – клевер

Степка был у соседей, когда услышал звук мотоциклетных моторов. Он выскочил из хаты Ганы Болотки и бросился домой.

Увидев бегущего мальчишку, немцы окружили хату Прошковиной, обыскали все углы, чердак, запечье, испороли все подушки. Они подумали, что Степа бежит предупредить прячущихся в хате партизан.

Уже став преподавателем истфака, Галина Ефимовна пыталась в архивах найти упоминание об отряде Кондрата, его личном составе. В книгах о партизанском движении бригад с названием «Смерть фашистам» было несколько десятков. Но Галина Ефимовна разыскала и Бородину, и Кондрата. Кондрат значился командиром отдельной диверсионной группы.

Далее шли сводки и отчеты о деятельности бригады, ее отрядов и групп, и ничего больше.

Тогда она стала искать очевидцев. Медленно, по крупицам, она восстановила картину той блокады, в которую попала в мае сорок четвертого группа Кондрата.

А после того как восстановила, с еще большей ревностью стала рассказывать матери о Лизке.

Отец умер в семьдесят пятом, мать пережила его на пятнадцать лет.

Со временем она все меньше вспоминала о «родной кривинке».

— У нее своя жизнь, — как-то философски заметила она и больше никогда не спрашивала дочь, что там слышно о Елизавете Кондратьевне.

И только перед смертью вдруг сказала:

— Умру, наверное, скоро?

— С чего это ты вдруг? — начала было Галина.

— Лизка сегодня приснилась...

После смерти матери у Галины Ефимовны отпала обязанность рассказывать о жизни в Санкт-Петербурге ее приемной дочери. И о существовании Елизаветы Кондратьевны в семье Прошковиной не вспоминали.

Май сорок четвертого. Немцы блокировали соседнюю партизанскую бригаду. И по стечению обстоятельств в блокаду попал и отряд Кондрата. Тактика партизан в таких случаях была проста: разбиться на маленькие группы и

пытаться прорваться. Но Кондрат не стал дробить свой отряд.

Не имея возможности получить у местных жителей продукты, уклоняясь от поисковых групп противника, отряд пытался нащупать места, где можно было либо пойти на прорыв, либо выскользнуть из окружения незамеченным. Но куда бы они не выходили, везде были немцы, стояла военная техника, и громкоговорители убеждали партизан сдаться и получить помилование от немецкого командования, помыться в бане и сытно поесть.

Оставалась одна надежда на выход к стыку двух лесных массивов в надежде прорваться именно там, хотя никаких данных, что там нет противника или противник сосредоточил малые силы, у командира не было. Впереди, в пределах видимости, маячили спины двух дозорных, остальные же брели одной группой. Бойцы не спали и не ели несколько суток. Недовольство решением Кондрата не разбивать отряд на группы росло и переходило в ропот. Ксения несла на руках Лизку, время от времени давая ей пососать тряпочку, в которую был замотан сухарь. Но это уже не устраивало ребенка, и та стала пищать.

– Оставь ее, – сказал Кондрат жене.

Та отрицательно мотнула головой. Кондрат, не привыкший к возражениям, снял с плеча Васька шмайсер.

– Оставь... на купине.*

Ксения, спотыкаясь и оглядываясь на мужа, не передумает ли он, положила пищаний сверток на болотную кочку.

– Иди, – сказал Кондрат ей, указав стволом автомата в сторону, куда двигался отряд.

Васёк увлек Ксению за собой, а Кондрат остался возле болота, в ожидании, когда последний из его бойцов скроется за стволами деревьев. Среди множества лесных шумов, плач ребенка был хорошо слышен. Но вдруг он прекратился. Лизка, словно почувствовав, что именно от этого зависит ее жизнь, замолчала.

Ксения вырвалась из рук Васька и побежала обратно. Однако плач тут же возобновился, но... последовала короткая автоматная очередь, и Лизка больше не плакала.

В тот же день группа Кондрата прорвалась на стыке двух лесных массивов, потеряв две трети своего состава. Среди погибших была и жена Кондрата Ксения. Те, кто остался жив, говорили, что она искала смерти, и та пришла к ней.

* Купина – кочка

На следующий день Галина Ефимовна отстояла службу в Соборе Петра и Павла.

Она поздно пришла к Богу. В храм ходит время от времени, плохо разбирается в обрядах и не знает многих молитв. Но каждый год в конце мая всегда посещает Собор Петра и Павла.

Из услышанного во время служб и некоей логики моления она составила свою молитву, в которой просит прощения за ту многолетнюю ложь, и ... упокоения души Рабы Божьей Елизаветы... на поле боя убиенной.

ПОЭЗИЯ

Виктор БЕЛОВ

КАК ЗАВТРА МИР НАШ НАЗОВЁТСЯ?!**РУКИ**

Одной рукой качай колыбель сына,
Другой – могилу деда поправляй.
(Из белорусской поэзии)

Нам уготовано иное:
Пока не срок навек лежать –
Оборонять свой дом одною,
Другою – звёзды приближать...

1988

КАРТОШКА

Я очень люблю картошку.
Картошку жёлтую,
Картошку красную,
Картошку чёрную, из костра...
И как о радости неожиданной,
И как о радости ожидаемой,
Могу рассказывать о ней
С вечера до утра.
Я в земле копал
И в снегу копал,
Под дождём копал
И в мороз,
Со жмыхом я ел,
С отрубями ел,
Со слезами ел
И без слёз.
Я помню сорок шестой.
Голодный сорок шестой.

А было мне восемь лет,
А в доме ни крошки нет,
А в доме лишь я и дед...
А впрочем, ешьте, друзья,
Я отвлёкся немножко,
Я только хотел сказать,
Что очень люблю картошку.

1960

СВИСТОК

Когда закончилась война,
В село вернулся инвалид.
Он сыну,
 другу моему,
Привез свисток.
Трофейный,
 черный,
 косяной ,
Блестящий и внутри.
И ошастливленный малыш
Не спал с ним до зари.
Сосед был пьян.
 Он хохотал.
А сын свистел на все село.
Возненавидел друга я.
Невыносим был инвалид.
Он хохотал на все село,
А сын свистел на все село...
А мой отец – убит!

1960

* * *

От снега
Комната светла
Безлунной и беззвёздной ночью.
Сморяю, и – кажется:
Ветла
Двух проводов коснуться хочет.
И замечаю:
Каждый дом
Уздой железною привязан

К столбам,
Которые с трудом
Все эти нити держат разом.
Да нет,
Ветла совсем не зла,
И будут добрыми все нити.
...В ночь электричка увезла
Мою звезду, звезду в зените.
А воздух искрами продут –
Снежинка каждая прекрасна.
«Пускай к тебе
Снега придут,
И пусть в светлице будет
Ясно».

1977

СВАДЬБА

Ну-ка, сани,
скрипнув,
сами
Просвистите вдоль зимы.
Сколько девок проплясали
На чужих пирушках мы!

Был и я лихой жеребчик,
Да почувял удила.
Даже не было и речи,
Только глазом повела.

Ах ты, воллошка-пропажа!
Не журюсь и не журю.
Все равно в деревне скажут:
Не на тот я бок жую!

1977

ПОЛЕ КУЛИКОВО

О поле наше,
Поле Куликово!
Шесть сотен лет кричали кулики.
И вот опять размечено толково,

Поэт печальный,
Кто же скажет,
Откуда есть и что — любовь?
Гляжу, не тот ли честь окажет,
Кто у садка мне машет вновь?

Я сердцем дрогнул, —
Может статься,
И с ним уже давно знаком:
Тараса вижу в каждом старце,
Хоть он и не был стариком.

1988

ПРОЗА

Виктор СЛАВЯНИН

ЗАТЕРЯННЫЙ ОСТРОВ

Повесть в рассказах

*Лучшему танкисту Второй мировой
Иону Лазаревичу Дегену*

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Остров длинный, похожий на зелёный стручок фасоли. Он почти безлюден. Только на противоположных концах его, где верхний высокий берег резал реку на два русла, и внизу, где река сливалась в широченную воду, в густой тени верб прятались палатки. Кому-то из проплывающих мимо могло показаться, что остров — целый материк, где жизнь только-только зародилась. И те, кто живет на верхней оконечности, ничего не знают о живущих на нижней.

Вдоль левого берега острова проходил главный фарватер реки, а мимо правого, заросшего высокими густыми вербами, тянулся неширокий рукав-протока — начало большой дельты.

Июльское солнце перекаатило через небесный перевал и сеяло жару. Небо было пустым, выстиранным. Даже большие белые чайки, лениво кружившие над водой, казались случайными пришельцами с небесной вышины. Ветра не было. И речная гладь, как огромное стекло, отражала солнечный свет, подмигивая случайными бликами. Иногда пробегала по реке моторная лодка. Волны от неё набегали на берег острова, с ленивым баловством облизывая жёлтый песок.

Из-за южного поворота реки на фарватер вышел белый «Метеор». Принялся мигать левой отмашкой. Ему сверху ответила вспышкой «Ракета». Они разошлись левыми бортами. «Ракета» соскользнула в узкую протоку и, надрывно гудя винтами, помчалась, точно в тёмно-зелёном тоннеле, оставляя за собой белый бурун. А он, пенный,

угасая, расходился по сторонам крутыми валами. Волны от «Метеора» и «Ракеты» ударились друг о друга непримиримо и, покатались, каждая по отдельности, к острову.

На островной песок была вытянута деревянная лодка.

Первая волна ударила ее, залив корму, а вторая и третья подползли под чёрное брюхо, ловко подбросили и поворовски поволокли на стрежень.

Из большой выгоревшей палатки выскочил худощавый седой мужчина лет шестидесяти. Подворачивая на ходу штанины чёрных брюк, сбежал к воде, вскочил босыми ногами в реку, ухватил уплывавшую лодку за нос и поволок обратно.

— Разбегались тут! — недовольно буркнул он себе под нос. С большим трудом затащил посудину на песок и, наклонившись, стал выпутывать из горы веревок, что лежала на дне лодки, якорь.

— Чем занимаешься, Леонид Арсентьевич? — услышал он голос от реки.

Обернулся. Недовольная суровость на худом загорелом лице сменилась радостной улыбкой. И крикнул в ответ:

— Хо-го-оу! Евгений Адамович!

К берегу подплывал маленький каючок .

— Приземляйся! — Леонид бросил якорь на песок. Полез в воду, схватил за нос лодочку гостя и потянул к берегу, точно заводил лошадь в денник. — Это здорово, что ты прилетел! А то я совсем заскучал без дела в одиночестве. Геса сегодня не работает... Течения нет... и рыбалки никакой.

— Ты в одиночестве? А Татьяна Лукьяновна где же?

— С самого утра в Крынки подалась. Боцман повез...

Человек в каючке был одет в светлую безрукавку и соломенную шляпу. Руки сильные, покрытые белыми густыми волосами, отливали крепким загаром. Он бросил на дно весло, встал на колени, перекинул через борт левую ногу в резиновом сапоге. Потом, ухватившись за борт, перенес через него правую, которая заканчивалась культей.

— Это что с тобой? — растерянно спросил Леонид. — Я тебя с пеньком никогда не видел!

— «Хорошо тому живется, у кого одна нога», — весело пропел гость и пошёл на берег. — Так, кажется, пели после войны?.. «Тому пенсия дается...»

— И кое-что не трется... — добавил Леонид.

— «И не надо сапога».

Они обнялись.

— Протез совсем засалился, — объяснил Евгений Адамович. — Уже тридцать лет как я его прикручиваю...

Когда последний раз в области проверяли... Вдруг нога отросла... Пообещали новый. Сказали, что аж немецкий... На неделе ездил слепок делать... Когда-нибудь дождусь. А я пока, как после войны, с пеньком побегаю...

— Это только у нас... — рассмеялся Леонид, как радующийся ребенок. А потом зло добавил: — Немец ногу оттяпал, а теперь протезы присылает. Цирк, да и только... — И искренне посочувствовал: — На берёзовой деревяшке ведь неудобно...

— Неудобно тому, у кого две ноги, — засмеялся Евгений. — Как рыбалка, товарищ полковник?

— Да какая рыбалка в такую жару, Женя? Сегодня с трех утра до восьми сидел на реке с покатком. Ни одной нормальной поклевки. Четыре плотвички и один подлещик — разве это рыбалка?

— Ну, тогда держи. — Гость запустил руку под носовое сидение каюка и достал черно-серебристого судака килограмма на четыре.

— Это... с каких заслуг? — растерянно спросил Леонид, пытаясь сдержать радостное удивление.

— Я же так просто не езжу... Вообще-то я к твоей жене. А судак — в качестве борзых щенков.

— Что стряслось? — беспокойно спросил Леонид, принимая рыбу. Он был рад приезду гостя и воспринял слова с искренним беспокойством.

— Внука всех довела. — Евгений Адамович вымыл руки от рыбьей слизи. Схватил каюк за нос и потянул на песок. — Эта дура-мамаша!.. Ведь сама медсестра... Училище закончила!... А из пятимесячного ребенка сделала какую-то павловскую собаку, прости Господи... И слова ей не скажи... В ответ только одно: «Теперь кормят детей по-другому! Ваше не модно!» А ребёнок что не съест — всё назад... Неси, Арсентич, нож и кастрюлю... Что-то будем делать с судаком. На такой жаре задохнётся...

Леонид по-молодецки поднялся на берег. Вернулся с большой доской и кастрюлей. И кладя все на нос каюка, настороженно сказал:

— Эпидемия что ли какая-то кругом? Боцман... Лукич... В девять утра припёрся на своем авианосце. У него внуку полгода — тоже всё назад. Татьяна к нему поехала... Теперь — ты.

— Когда обещала вернуться? — Евгений принялся чистить рыбу.

— Кто знает? От Боцмана так быстро не возвращаются... Ты же его знаешь... Говорит одно, а когда сделает... Написано

Манчестер, а читается Ливерпуль ... Обещал к обеду.

— А ты сам-то обедал? — спросил Евгений. — Чего будем делать с рыбой?

— Из судака? — недоуменно ответил Леонид. — Уху! И жарим...

Когда они поднимались на высокий песчаный берег, Леонид спросил:

— Ты где взял судака?

— На перемет схватил... Была щука. Так сорвалась, когда к лодке подтягивал.

Лагерь таился под широкой кроной вербы. Две палатки. Стол под широченным тентом и плита с длинной чёрной трубой.

Они уселись за стол.

Леонид Арсентьевич принялся чистить картошку и лук.

— Не очень торопишься? — спросил он.

— Какая спешка? — ответил озабоченно Евгений. — Специально ехал — буду ждать...

За ближними кустами ежевики замелькала фигура человека.

— Кто-то идёт, — заметил Евгений Адамович.

Леонид посмотрел в сторону кустов, подслеповато прищутив глаза, и недовольно пробурчал:

— Несет же нелегкая. Сейчас будет водку в рот всем пихать...

— А ты не наливай.

— Так он со своим самоваром всегда ходит, — недовольно буркнул Леонид. Отложил нож и недочищенную луковичу. Отер руки о полотенце и, обернувшись на шум тяжелых шагов, весело сказал: — Какие гости к нам!

Подошел грузный старик лет семидесяти в зеленой камуфляжной безрукавке, над левым нагрудным карманом которой был приколот набор из четырех рядов орденских колодок. Серые тренировочные брюки сползли и болтались под большим животом, который казалось, вот-вот вывалится из зеленого матерчатого мешка. Маленькие, глубоко утопленные темные глаза на большом круглом лице походили на два одиноких гнезда береговушек. Он благодушно улыбался. В руках держал тряпичную сумку.

— Что такой веселый, товарищ генерал? — спросил Леонид Арсентьевич.

— Ты чё, полковник!? Забыл? — обиженно ответил толстяк. Присел к столу. Вынул из сумки бутылку коньяка «Каховка» и выставил на стол. — День рождения у меня сегодня. Стаканы? давай!..

— Поздравляю! — деланно улыбаясь, сказал Леонид. И добавил, указывая взглядом на Евгения Адамовича — Вот, знакомься, товарищ генерал... Это директор школы в...

— А мы знакомы, — ответил лениво тот. — Ты будешь пить, Полмаресьева?

— Меня зовут Евгений Адамович, — поправил директор. — А вас?

— Как будто ты не знаешь, — буркнул толстяк недовольно. — Давай... за день рождения!

— Может, подождешь, Пахом Демидыч? — попросил Леонид. — Уха через полчаса будет.

— Ну, по маленькой для начала, — продолжал настаивать Пахом Демидович. — И закусить чуток дай.

Леонид Арсентьевич запустил руку под стол и выставил три граненых стакана. Сбросил полотенце с угла стола и подтянул на середину тарелку с кусками хлеба.

Генерал отвернул на горлышке бутылки металлическую пробку и налил коньяк.

Они чокнулись. Пахом Демидович выпил, а Евгений и Леонид только пригубили.

— На реке был, видел, что Боцман у тебя утром швартовался. Когда обещал вернуться? — спросил генерал, занюхивая хлебом. — Твою жену на палубе видел...

— Татьяну к больному внуку повез, — ответил Леонид, забрасывая в кипящую воду картошку. — Тебе он зачем?

— Я ему огурцы заказывал. Гостей же нельзя одной водкой кормить.

— Быстрее смотаться в город, — заметил Леонид. — На базаре огурцов полно.

Но толстяк не прореагировал на замечание.

— А сколько стукнуло бывшему генералу? — спросил Евгений Адамович.

— Бывших генералов не бывает... Как и разведчиков. — Пахом Демидович налил себе коньяк, ударил дном стакана по венцам двух других и выпил. — Семьдесят два...

На плите нервно застучала крышка на кастрюле. Леонид Арсентьевич стал закладывать рыбу.

— Сало не забывай, полковник, — заявил толстяк. Он сидел за чужим столом вальяжно, изображая усталость полуприкрытыми глазами.

— А как же без сала?..

— И чеснок...

— Ну, Демидыч, ты совсем меня за неумеху держишь, — делано улыбаясь, сказал Леонид. — Ты уже двадцать лет на этом острове мою уху ешь, а все учишь...

— Неправда, не двадцать.

— Как не двадцать? Я же тебя сюда привез в шестьдесят первом, — заметил Леонид Арсентьевич и указал на дальнюю вербу, которая нависла над водой, готовая упасть.

— Вон там твоя палатка стояла. Забыл, товарищ генерал?

— Значит, не двадцать, а девятнадцать, — стоял на своем генерал. — Сразу после Гагарина приехали. Помню... Хорошо отмечали первый полёт.

— Гостей много позвал? — Леонид выставил на стол глиняные миски, бросил в них деревянные ложки и принялся разливать уху.

— Человек двадцать.

— Будет весело...

— А с чего скучать? Ну, давайте выпьем. — Генерал пододвинул к себе парующую миску. — Уха из чего? А то я из щук не люблю.

— Судак, — ответил Леонид.

— Так ты же судаков не ловишь.

— Евгений Адамович привёз. — Он взял бутылку, налил в стаканы. — Ну, давай, товарищ генерал, за твое здоровье. Прямо зависть кусает. Сколько помню — ничто тебя не берет...

— А ты не завидуешь. — Пахом Демидович выпил.

Ели молча.

— Что ты, полковник, умеешь варить уху, это надо признать, — сказал генерал. — Подлей еще. — Протянул пустую тарелку к лицу хозяина. И, принимая полную, добавил: — Вот, помню одну бабёнку... Она такую уху справную на Дону варила. И тоже из судаков. Вкус до сих пор на языке.

Он налил себе коньяк и выпил.

— А когда же ты, Демидыч, на Дон успел смотаться? — спросил Леонид. — Я тебя каждый день на реке вижу.

— Это в сорок втором было. Штаб армии перебазировали на левый берег... Вот только станицу не помню...

— Может, Вешенская? — спросил школьный директор, хлебая уху.

— С Шолоховым я не пил. А мог бы, — с нескрываемой гордостью сказал генерал. — Он один раз к нам в Политуправление фронта приезжал... Но это в сорок четвертом... Ждали, готовились... Ведь не просто какой полковник, а сам большой писатель... Стол накрыли что надо... Главное — было чем. У этой сучей немчуры... у каждого свой дом. А подвалы бутылками мозельского забиты от пола до потолка... Пробовали мозельское? — Генерал

снова налил себе и выпил. — А Шолохов командировку в штабе отметил и к Рокоссовскому побежал...

— Заговариваешься, Пахом Демидыч, — сказал Леонид.
— Говорили про уху.

— Про уху?.. Ну, расселились мы по хатам... Мне досталась девка... Не девка. Баба лет сорока пяти... Добрая, сиськастая. — Генерал растопырил пальцы, точно взвешивал что-то.

— А тебе сколько было тогда?

— В сорок втором?.. Тридцать три... — Пахом Демидович задумался и поправил себя: — Нет. Тридцать четыре.

— И уже были генералом? — спросил Евгений.

— Нет. Дивизионный комиссар. Заместитель начальника Политотдела армии... А перед тем был заместителем в Политотделе корпуса...

— А на человеческом языке это что? — Евгений Адамович поднял стакан и принялся вертеть его в руке. — Капитан, майор?

— Капитан!?! — возмутился Пахом Демидович. — Полковник!... Так вот, бабенка каждый вечер судачков готовила. То их изжарит, то напарит... А со сметаной судачок получше всякой там осетрины. Где брала — не знаю... Умела перед командиром ходить — обзавидуешься. — Он снова налил себе. — Я за себя сам выпью. От вас толку никакого... И за Христю! — И выпил.

— Это хозяйка? — поинтересовался директор.

— Ага, — Генерал принялся есть. — Утром я лежу еще на кровати... А Христя уже у печи. Шанежки настряпает... И со сметаной... В обед борщ из тушенки, а вечером обязательно жареный судачок... — Лицо его излучало счастливое удовольствие. — Про ее мастерство в Политотделе пронюхали и давай по вечерам ко мне заглядывать... Ну, не выгонишь боевого товарища... А ночи там в июле, не то что здесь. Серебрянка... А звезды... Тут мелочь, что та верховодка... Выйдешь покурить... Тишина... Хоть немец какую мину бы кинул для порядка. — Он посмотрел на Леонида и с упреком добавил: — Даже твои «Юнкеры» и «Фокеры» мимо пролетали...

— А фронт далеко был? — спросил Евгений.

— Километров пятнадцать... На правом берегу.

— Тяжелая война у вас была, товарищ генерал, как я погляжу. Чем занимались?

— А в политотделе всегда невпроворот делов. Собирали полибойцов и всяких там политруков... Старших и младших. Человек по двадцать. Читали статьи товарища Сталина.

Передовые статьи из «Правды» и «Красной звезды». Была своя фронтовая газета... И каждому надо вдолбить, что комиссар и политработник — это главный человек в армии. Что он всегда должен быть среди солдат... И всегда первым в бой... Учились, как положено, по двенадцать часов ... И так две недели. Потом другие приходили... А народ туповатый. Кто-то только-только читать выучился... А ему надо до ума довести слова Ленина... «Империализм и эмпиризм...» — Генерал запнулся и тут же поправился: — Эмпириализм...

— «Материализм и эмпириокритицизм» , — подсказал Евгений Адамович.

— Сейчас это уже никому не надо... А тогда без этого никуда... — Он протянул пустую миску Леониду Арсентьевичу. — Ну, подлей, полковник, еще... От твоей ухи память молодеет, как от лекарства.

Генерал взял полную миску, поставил перед собой, расправил плечи и тяжело выдохнув, зачем-то сказал:

— Все равно осилю.

Налил себе коньяк и выпил.

По реке промчалась «казанка», переполненная людьми.

— Народ ко мне побежал, — сказал Демидович и нервно спросил: — Когда Боецман обещал вернуться? — И не дожидаясь ответа, заговорил: — А, вот, когда за Волгой стояли... нам совсем хреново было. Только тушенка американская и сардины в баночках. От них уже тошнило... А хочется настоящей рыбы. Особенно зимой без нее больно. Без речной... Под обстрелом по льду кто ловить будет?.. Иногда крепко припирило. Я даже два раза машину посылал на Урал за рыбой. Там мужики из-под льда лихо ее таскали...

Пахом Демидович снова налил себе. Выпил и радостно сообщил:

— А морская совсем тьфу! — Он плюнул себе под ноги.

— Смердит... Живу у моря, а сюда за рыбой езжу... — Взялся за бутылку. — А Христя готовила все равно лучше...

— Опять Христя? — недовольно заметил Леонид.

— Почему — опять? — удивился генерал и отодвинул нервно тарелку с ухой.

— На Дону — Христя, за Волгой — Христя.

— Так это одна и та самая, — Генерал выпил. — Как отходили к Сталинграду, я ее с собой взял. Дел по горло, готовить некогда. Из общего котла я не привык... А с ней сытый и без вшей... Чистюля была...

— И что с ней? — спросил Евгений.

— Не знаю. Когда было?... Меня приказом Ставки к Ватутину на Политуправление фронта переназначили... Заместителем... Кому-то досталась... А вот день рождения свой на фронте у Ватутина я запомнил на всю жизнь. Других таких не было после... — Генерал пододвинул к себе тарелку и продолжил есть. — В сельской школе... Бывший барский дом... У нас один интеллигент в штабе служил. Он говорил, что это бальная зала... Человек пятьдесят было за столом... Николай Федорович директиву ноль четырнадцать прямо тут и подписал... Как сейчас... Он тост говорит, а тут делегат связи из Ставки с бумагами...

Генерал выудил из ухи кусок рыбы и принялся ее жевать. И точно вспомнив что-то важное, сказал:

— И солнце палило тогда, как и сейчас, хоть гимнастерку выкручивай... Пот льёт...

— Дождь идёт, а мы скирдуем, — сказал Евгений Адамович, глядя на реку.

— Чего, чего? — переспросил генерал.

— Вспомнил поговорку. А что за директива такая?

— Особая. Контрудар двух гвардейских танковых корпусов... Ватутин к нам приходит и докладывает: «Перед нами «Лейбштандарт-СС». Думаю, надо организовать контрудар». Мы посоветовались в Политуправлении и согласились... — Пахом Демидович снова выпил. — Там еще были какие-то эсэсовцы... Но я не помню сейчас.

— «Дас Райх» и «Тотенкопф», — подсказал Евгений Адамович.

— Ага, «Мёртвая голова»... А ты, Полмаресьева, откуда войну знаешь? Молодой вроде...

— Книжки читаю! — нервно ответил Евгений Адамович.

— Все вы войну только по книгам... А мы головы клали... Помню, прилетел ко мне генерал Ротмистров. Усы раздул, глядит через очки, как сова... «Почему запретили танкистам радиосвязь?!» — кричит. Ты на кого кричишь, генералишка? — Пахом Демидович вскинул сжатый кулак, точно кому-то угрожал. — Как будто тебя кто боится... Ты — очкастый танкист, а я — заместитель начальника Политуправа фронта.

— А почему запретили пользоваться радио? — спросил Леонид, кинув взгляд на генерала.

— Чтоб танкисты фрицев не слушали. Чтоб не поддавались на пропаганду. Сосисками и пивом быстро переагитировать кого угодно можно против советской власти. За жратву родину продают до сих пор! Она, погляди на нашу теперешнюю молодежь. Только на иностранцев пялятся... Бибисю слушают с утра до ночи... За шмотьем

иностранным, как за мамкиной сиськой, бегают... А то — война.

— Так у немца радио на другой частоте работало, — заметил Евгений Адамович.

— И что из этого? Политический момент. Без него войну не выиграешь... С флажками заместо радио до этого воевали? И войей дальше... Да и какое мне было дело до этого Ротмистра?.. Я готовился к дню рождения. Людей пригласил... Мне твое радио к такой-то матери...

— Так и воевали без радиосвязи? — удивленно спросил Евгений.

— Я разрешил пользоваться радиосвязью с восьми ноль-ноль двенадцатого июля. Чтоб не бегали и не портили праздник.

По реке пробежали еще две «казанки» с людьми.

— Так, где твой Боцман, полковник? — недовольно сказал Пахом Демидович. — Весь народ уже собрался...

Со стороны рукава донесся резкий рев сирены.

— Шлепает, — объяснил Леонид Арсентьевич. Встал из-за стола и спустился к воде.

Из-за прибрежных кустов молодого ивняка вынырнул буксирчик, похожий на злого бычка. На носу был прикреплен «мазовский» скат, а к левому борту пришвартована небольшая баржонка, на палубе которой громоздились ящики, составленные штабелями.

Буксир долго топтался на месте, разворачивая корму поперек реки и, недовольно бурча нутром, осторожно уткнулся в берег. Двигатель умолк. На нос вышел большой лысый человек в тельняшке, сбросил деревянный трап.

— Арсентич, принимай стратегический груз! — громко сказал он.

На трап ступила полная женщина в цветастом голубоватом платье, аккуратной соломенной шляпке, из-под которой растерянно глядели очки с толстыми стёклами. Она боязливо ступила на доски, держась за ладонь шкипера.

Леонид Арсентьевич шагнул в воду и, протягивая руку жене, недовольно сообщил:

— Генерал в гостях. Постарайся не заметить его.

— В Ялте его конем не объедешь, так и тут... — раздраженно сказала Татьяна Лукьяновна. — С чего припёрся этот хозяин жизни?

— У него день рождения сегодня. Боцман огурцы обещал.

— А какюк чей? — спросила женщина настороженно.

— Адамыч к тебе приехал. У него тоже внучка худеет и рвет...

— Что за жизнь? Из огня да в полымя... Иди. Я сама поднимусь в палатку. И меня не зови.

Женщина пошла вдоль берега и скрылась в кустах ивняка.

— Боцман!? — раздался окрик с берега. — Где ты шляешься!? Битых два часа тебя жду.

Шкипер вышел из рубки буксира.

— Чего глотку драть? — спросил он.

— Ты когда обещал?! — требовательно спросил генерал.
— Давай огурцы! Только желтяков не кидай!

Шкипер перешёл на баржу, снял со штабеля ящик и ловко спустился по трапу.

— Десять рублей с тебя, товарищ генерал, — сказал он, ставя ящик с огурцами перед ногами генерала.

— Вон, я почти полбутылки коньяка оставил, — ответил толстяк. Наклонился и принялся переключивать огурцы из ящика в матерчатую сумку. — Ты, Боцман, мне день рождения испортил... Меня люди ждут, а я с твоими огурцами копаюсь.

К нему подошёл Евгений Адамович. Взял из ящика огурец и стал его деловито разглядывать.

— Так у вас, товарищ генерал, именно двенадцатого июля день рождения? — громко спросил он.

— Уже семьдесят два года, аккурат, двенадцатого. — Пахом Демидович отобрал у директора огурец, бросил в сумку, пнул пустой ящик ногой и пошел в глубину острова к кустам ежевики.

Боцман поднялся на берег с ящиком огурцов. Протянул руку школьному директору и сказал, провожая взглядом тучную фигуру генерала:

— Морду бы ему набить! Так я только старший сержант.

— А я свою культу не пожалел бы для такого случая, — добавил Евгений Адамович.

— Да что вы на него взъелись? — заступился Леонид Арсентьевич. — У человека день рождения... Пусть повеселится... Только бы не сидел у людей на голове со своей водкой. Он мне за зиму в Ялте ой как надоел. На набережную выйти невозможно. Куда не ткнись — везде он. И сразу: «Давай выпьем...»

— Лучше бы твой генерал родился двадцать девятого февраля, — хмыкнул Евгений.

— Ты о чем? — спросил Леонид.

— Да так... Как говорится, навеяло. Он все рвался ко мне в школу детям о войне рассказать... Без его рассказов дети дураками как будто вырастут. Я отказал. Так он требовать стал. Райкомом угрожал... Он у вас в Ялте большой

начальник?

— На набережной у винной бочки — заметил Леонид. — А так — заместитель председателя Комитета ветеранов. В горком часто ходит. — И вдруг пошел к палатке, нервно сказав гостям на ходу: — Я сейчас.

Вошел в палатку и, оглядываясь на приоткрытую входную шторку, тихо спросил у жены:

— Таня, а что было двенадцатого июля сорок третьего? Вспомни.

— Чего? — женщина переспросила рассеяно. Она рассматривала себя в зеркале, ловя пинцетом чуть заметные волосики на лице.

— Что было двенадцатого июля? — осторожно повторил Леонид.

— Спроси что попроще... — Женщина продолжала внимательно вглядываться в свое лицо. — Двенадцатого? Дай Бог памяти... Двадцать восьмого убили эрцгерцога Фердинанда... Но это было в четырнадцатом...

— Я про сорок третий? — в тихой нервности спросил Леонид.

— В сорок третьем?.. Танковая бойня на Прохоровском поле ... А тебе это зачем???

СВОЯ ВОЙНА

Боцман переложил огурцы из ящика в эмалированное ведро.

— Пойдем, Арсентич, со мной. Я картошку привез. Только возьми, куда пересыпать.

Они спустились к воде и забрались на баржу.

— Время есть, Иван Лукич? — спросил Леонид, перекладывая клубни из ящика в мешок.

— Да, ужеж некуда и бегти, — ответил тот, глядя себя по лысой голове. — Время — пятый час. На базаре все лавки уже позакрывались. А стоять у пирса возле «геса» — матюгов наслушаешься, и огурцы поворуют, пока я кемарить буду. Я до утра на твоём рейде постою. Если дозволишь...

— Тогда пойдем. — Леонид взвалил на спину мешок с картошкой. — Угостишься? Мы уже уху ели. Генерала кормили. Но за компанию...

— Это можно, — согласился Боцман. И серьезно добавил: — И наркомовских ... Не будет возражений?

Проходя мимо палатки, Леонид позвал жену:

— Татьяна Лукьяновна, выходи к нам! Женя тебя заждался...

Вниз по реке, оставляя за собой черный след несгоревшей соляры, пролетел «Метеор».

– Тьху на них! – выругался Иван Лукич, садясь за стол.

– Чего это ты? – спросил Евгений Адамович.

– С войны этот запах меня выводит. Я свой дизель две зимы перебирал, пока заставил работать по-людски. У меня не дымить, хоть и старый.

– Ты танкистом был? – спросил Евгений.

– Минометчиком. Полковой
стодвадцатимиллиметровый.

– У тебя, Лукич, минометы на дизельной тяге были? – рассмеялся Леонид.

– На дизеле в две конских силы. Упряжь и дышло, чтоб тащить полковой миномёт. По уставу телега и четыре лошади полагалось. А если две было – считай, повезло... И собственным горбом таскали... если какой «студер» или «доджик» не подмогнет...

– Помнится, ты говорил, что в пехоте был... – сказал Леонид Арсентьевич. – А теперь миномет.

– Первых два месяца... А после госпиталя – сапером. На «Захаре» копровую бабу возил. В минометчики уже после второго госпиталя определили.

Из палатки вышла Татьяна Лукьяновна.

– Здравствуй, Женя, – сказала она. – Забыл ты про нас. Скоро год, как последний раз виделись...

– Здравствуй, Таня... Откуда помнишь?

– А я все, что меня касается, помню... Леонид сказал... с твоей внучкой стряслось чего-то? – Заглянула в одну кастрюлю, другую и, увидев куски рыбы, радостно воскликнула: – А это откуда?!

– Адамыч угостил, – объяснил муж. – Тебе персонально.

– Что случилось, Женя? – переспросила женщина, снимая с плиты кастрюлю с ухой и ставя на её место сковородку. – Рыбу солили? А то пересолю...

– Проконсультироваться приехал, Татьяна Лукьяновна, – ответил Евгений Адамович. – Внучка... Что ни съест дитё – все назад... – И с раздражением добавил: – Мамашка... Невестка – по моде кормит.

– Вот, Лукич! – обратилась женщина к Боцману. – Не ты один с невестками воюешь... Мозги бы им кто вправил, дурам! «Бактерии кругом... Не дай Бог дите заразится чем-нибудь! Чтоб стирильно...» – передразнила она кого-то.

– Малому дитю таблетки с утра до ночи пихают! И эта гадость, конечно, вымыла весь кишечник. Слава Богу, вместе

с глистами...

— Зато модно! — недовольно буркнул Евгений Адамович.

— Модно! — возмутилась женщина. — Послушаешь этих мамаш — хоть в гроб ложись... Видите ли, по последним данным... натуральное молоко не полезно!..

— Что делать, Лукьяновна? — спросил Евгений. — Внучка совсем исхудала. Ничего не ест.

— Отобрать у этих пигалиц детей и бабкам отдать! — Татьяна Лукьяновна нервно стучала ложкой по сковороде. — Пусть твоя Зинаида вспомнит, как своих двоих кормила. А таблетки — в помойку! — И продолжая негодовать, спросила: — Все рыбу в муке едят!?

— А як же без муки? — удивился Боцман. — По-другому никакого вкуса. В харчах главное — смак. — Он призывно вытянул вперед левую руку. Верх ладони был красновато-темный и блестяще-глянцевый, как после ожога.

— Ты, Лукич, топку рукой прикрывал? — спросила Татьяна.

— Я ж говорил... Я — минометчик... И, вообще, все мои ранения на войне только от своих. Если бы от немца — не так было бы обидно... Первое ранение... В атаку приказали... Сказали... мины все сняли... Впереди меня товарища в куски, а меня в ногу... А когда переправу ставили, бревно сорвалось. Плечо повредило и ключицу сломало... А один раз чуть свои не убили...

— Перепутали? — спросил Леонид Арсентьевич.

— Если б. Один танкист спас...

— Интересно все рассказывают... — сказала Татьяна Лукьяновна. — Кого не слушаешь... то случай спас, то — танкист. Помню, один, рассказывал, что конь мимо немецких окопов его пронёс... И ни одной царапины... Немцы, наверное, подумали, что цирк приехал.

— Может, с конём и цирк, — заявил Лукич, хлопая себя по голым рукам, гоняясь за комарами. — А мне не до цирка было. Станься по-другому — мне хана! Считаю, просто повезло... Я уже заметил... день станет дыбом с утра, так хоть назад беги, в ночь... — Он деловито уложил огромные руки на стол, как дисциплинированный первоклассник. — И день был такой дурной. Весенняя грязюка... Дождь лил перед тем три дня без остановки. А кругом чернозём. Напилаась земля водой, як дурак водкой. Сапог ставишь... и як в багно. Хоть кого гукай, чтоб ногу вытянуть помог... А вытянешь... и без сапога. От и воюй в портянке...

Боцман взялся за пустой стакан и принялся крутить его

перед своими глазами, намекая, чтобы ему налили. Но Татьяна остановила его.

– Ты, Лукич, погоди. Сейчас будет рыба.

– Шо-то долго, – недовольно ответил Боцман. – Жабры сохнуть, Лукьяновна.

– Ты продолжай. И время незаметно пойдёт, – попросила женщина.

– И только дождь кончился – уперёд! – Боцман оставил стакан. – Самолёты пошли... «Катюши» над нами своими хвостами заревели... И приказ: «Выбить немца с высоты. Огонь веером!..» А наши минометы аккуратно под самой высоткой...

– А это что такое – веером? – спросил Леонид.

– Мины класть по фронту девяносто – сто метров. То не просто. Наводчик калиматор то управо крутить, то улево. А заряжающий с миной возле трубы. Только пристроится, а она уже своей глоткой в другую сторону глядит... Не так станеть заряжающий – руки обязательно обпечёт. После пятого выстрела труба горячая, как выхлопная у «Запорожца».

Татьяна Лукьяновна положила перед мужем нож, две луковицы и полдюжины огурцов.

– Крошите, – сказала она.

– Говорять, чтоб не плакать, когда цибулю режешь, надо наркомовских налить, – отреагировал, смеясь, Иван Лукич.

Леонид Арсентьевич вынул из-под стола недопитую бутылку «Каховки» и пустой стакан.

– Не люблю коньяк... тем боле краденный, – объяснил Боцман,

– Почему краденый? – поинтересовался Евгений Адамович.

– Это генерал не допил? – недовольно спросил Лукич.

– Принес... – ответил Леонид.

– Я за пятнадцать лет Погудина выучил, как облупленного... – пояснил Боцман. – Никогда в магазине выпивку не купить. Только краденый пьёт. Ему с винзавода носить.

Он встал, спустился к воде и скрылся в рубке буксира. Вернулся с бутылкой «коленвала». Взял стакан, плеснул на дно.

– Ваше здоровье, доктор! – Лукич выпил. Занюхал кусочком хлеба, который лежал на тарелке, и положил его обратно. – От, як хорошо, шо я с вами знакомый! Как приедешь до вас...

– Ох, ты не терпячий, Боцман, – перебила Татьяна

Лукьяновна смеясь. — Сейчас рыба будет... Зачем горячий ствол хватал?

— Разве специально? — подхватил Лукич, довольный, что ему напомнили его рассказ. — Если б только руки обпёк... Санинструктор перемотать... и можна дальше воювать... А самое страшное, когда одна мина в стволе застрянет, а на нее заряжающий другую кинет сверху ...

— И чего? — спросил Леонид.

— Всему расчету хана. Сразу троих нету. Только были — и нету.

— Не видит, куда кидает? — спросила Татьяна Лукьяновна.

— Когда кругом бух, бух, бух... Над головой угу-угу... И не думаешь — выкинуло мину из трубы, чи она, зараза, там ... Первая на жало не налетела, а на нее другая... Миномет на куски! — Боцман нервно раскинул руки, словно отмёл от себя всё лишнее. — И нету трех людей... Каждый раз, как меняем место, командир роты все приказ Жукова читать: «Много народу убиваются из-за невнимательности!..» А я скажу... У минометчиков один закон: огневая позиция годится только на раз. От и получается, шо слушаем этот приказ мы два раза на дню... Всё одно не помогало... В неделю один расчёт погибал от своей же мины...

Боцман снова налил в стакан водку.

— Так это тебя танкист от такой мины спас? — спросил Евгений. — Или ты за танк спрятался?

— Я — спрятался?! — недовольно ответил Боцман. — Я никогда не прятался! Просто один раз сказал себе... Если Бог захочит, он и без немецкой пули меня в гроб покладёт. И как услышал я себя, так мне совсем легко стало. Як будто пули и осколки про моё окончательное решение знали и обминали... Так то немецкие... А тут свои...

Ну, так вот... Как дождь кончился. И сразу все накинлись на высоту... Три часа подряд бу-бу без одой минуты отдыха... Шо потеряли расчет, только после заметили... И снова приказ: «Сняться с места и шагом марш на ту самую высоту, которую только поколошматили!» А шо это означить? Командир роты — иди ищи коней или какую-нибудь машину... Поставили минометы на колеса и ждем. Глядим... к нам кляча телегу тянет... Рано радовались. Это за покойниками нашими санинструктор и санитар. Помогли положить товарищей и опять же ждем... Уже час битый ждем и молим Бога, чтоб нас не надыбал какой-нибудь начальник... Крику и матюков наслушаешься!.. А слева, метров сто от нас, танки гуськом в гору идут. Ну, подойди

один до нас! Ему наших два миномета на гору затянуть, как сороке хвостом вверх-вниз... Удовольствие.

Татьяна Лукьяновна поставила на стол глиняные миски. Бросила рядом тройку вилок и выставила тарелку с жареной рыбой.

— От это закуска! — потер ладони Боцман. — Так, может, со мной?

— Нет, Иван Лукич, — ответил Леонид Арсентьевич. — Мы уже с Погудиным...

Боцман снова налил себе и выпил.

— Говорю хлопцам: «Придётся самим тянуть...» — Он нанизал на вилку кусок судака. — И только сказал, как гляжу, мимо нас в гору бегить «тридцатьчетверка». Из башни голова по сиськи торчить. Я ему махаю... Выручай, служивый!.. Остановился.

«Чего, трубачи!?» — кричит.

«Затяни на гору, товарищ старший лейтенант!»

«Цепляй!»

Из другой дырки башнер выныриваить. Помогать...

Примотали мы тросом одно корыто свое, к нему — второе... И поползли...

А за нами одним боком в танковой колее «Виллис» ползёт. Сигналит танку — пропусти! Бибикаить, как комар пицить в моторном отделении... Токо хто его слышит, когда дизель гудить? Стреляй — не очень услышишь. Нагнал «Виллис» нас... А в этом «Виллисе» генерал и двое полковников. Видать крепкое штабное начальство, потому что лейтенант заместо шофера. Не сержант или старшина, а лейтенант. Красную трибуну куда-то пруть... — Боцман с подчеркнутой многозначительностью поднял указательный палец. — Одежка на их справная, свежая, складской зеленкой отливаить. А груди в бляшках. Точно хто елки наряженные на рождество везеть. Особенно у генерала... И догадался я, что это агитаторы из самого дальнего штаба едут нам дух поднимать. Требовать, чтоб мы их и товарища Сталина защищали лучше ...

Лукич налил себе водку.

— Учитаем, что это все наркомовская порция, — зачем-то оправдался он.

Выпил и стал жадно заедать рыбой.

— А «Виллис» пробуить объехать, — продолжил Боцман. — Попробовал управо — там бугорок. Полез улево... и давай грязюку во все стороны из-под себя кидать. Она во все стороны от колес... И, которые в «Виллисе», от грязи рожи воротять и шофера матерять. А грязюка летить и летить...

«Виллис»... если кто знает — машин добрая, а все равно дурная. Как козел молодой — без нужды задними ногами брыкается, где не нада. Ты рулем управо, а он задницей — улево. Крутанешь резко — жди, обязательно юзом поползешь, а то и перекинешься... А грязюка штукатурит генерала и полковников, и не глядит, шо мундиры новые... Обгадила... и ту трибуну. Все стали похожие на недостроенное ласточкино гнездо... А лейтенант все крутит баранку и крутит! Чего ты ее крутишь, дурило!? Держи прямо и газуй... Только по чуть-чуть...

Боцман замолчал. Съел деловито кусок рыбы с хлебом.

— Если б я сидел вместо того лейтенанта, — сказал он, стуча себя левой рукой в грудь, — уже бы проехали с генералом... А такое место вдруг случилось... Бугорок слева высоченький у том месте. Танк на него полез... А справа — калюжа. Ну, как будто воронка от лопаты. И воды полная. Танк юзом пошел чуток. Правой гусеницей в эту вод... и провалился... А наши минометы по этому «Виллису», как конь хвостом по слепню... По заднему мосту... Бабах!

Боцман запустил ложку в тарелку с салатом, налил водку, выпил. Жадно заел огурцами. Долго молчал.

Сидевшие за столом смотрели на него и никто не решался заговорить.

— Из башни выскочил командир танка. Старлей молоденький... Ну, двадцать годков если есть, так даже с гаком... — Лукич взялся за стакан и вздохнул. — Лучше бы он остался в своей железяке... Спрыгнул с брони в грязь... и руку к танкошлему тянеть. Докладывает генералу... Танк гудить, соляром смердить... Чего тот генерал слышит?

«Ты, сука, не видишь!» — генерал кричит, пальцами себе в галифе и сапоги тычить. Показывает грязь.

А лейтенант не понимает, и продолжает оправдываться.

«Молчи, дурень!» — кричу я себе и молю Бога, чтоб он прикусил язык лейтенанту. Токо Бог меня не услышал...

Выхватил генерал «тэтэшник» и лейтенанту в живот... А те трое тоже поведёргивали пистолеты... и в лежачего...

— Не выдумывай, боцман! — воскликнула Татьяна Лукьяновна. — Не пугай людей. Не может быть!

— Может, — вздыхая, сказал Леонид Арсентьевич.

— А я и не пугаю, — Боцман налил себе водку на доньшко стакана, но пить не стал. — На месте того лейтенанта я должен был быть...

— Не иначе, как политруки пьяные были, — сказал Евгений Адамович. — По-другому не скажешь.

— А то, як без этого? — согласился Лукич. — Тут без

войны работаешь, и не удержишься. А тогда три дня дождь, и фронт буксует, как «полуторка» в колхозном говне... От такого в штабе спиться недолго...

— А ты что же!? — отбросив сомнение, громко спросила Татьяна Лукьяновна.

— А шо я?.. — точно оправдываясь, сказал Боцман. — Простой сержант... Сейчас спросить эта гнида с большой звездой на погоне: «Это чей миномёт!?» И всему моему расчету конец. Тогда никто не разбирался, особенно если «смершники». Мы все для них — замаскированные враги. Если бы они могли до солдата в голову заглянуть... почти всю Красную армию пришлось бы расстрелять...

Лукич заерзал на скамейке и виновато сказал:

— Мне с вами очень не удобно. Выходить... я — пьяница, а вы меня слушаете, потому шо не можете выгнать...

— Выпей с человеком, — шепнула Лукьяновна мужу и толкнула его локтем в бок. — Не умрешь.

Поставила на стол еще один стакан, налила водку и взяла в руку.

Леонид плеснул себе и Евгению Адамовичу коньяк.

— За тебя, Лукич, — сказала Татьяна Лукьяновна.

Они выпили.

— Им любого в шпионы записать — раз плюнуть... — заедая салатом, заговорил Боцман, повеселев. — Был у нас один солдат... Он конями правил... Часто рассказывал, як батогами в колхоз загоняли... Приехали «смершники», забрали... А нам объявили, что он немцам через линию фронта устройство миномета за банку тушенки выменял... Если ты человека дурнем считаешь, то кто за тебя воевать будить? Выходить, немец, когда на нас шёл, про устройство миномета не знал. И только в сорок четвертом ему наш конюх про него рассказал. Сбегал на ту сторону, а потом вернулся... А хлопец был замечательный. То хлеба лишнего подкинет, то коником ящик с минами в самый нужный момент подвезёт... Он даже писать не умел... Якой последний грамотей я, а под его диктовку к чувашам письма писал для его жонки и детишек. А он только подписывался... Евхимий. Это слово знал хорошо...

— Лукич, ты же про танкиста... — перебила Татьяна.

— Так я же про него и рассказую... — Боцман снова налил себе водки и выпил. Торопливо зажевал рыбой. — Эти с трибуной сели в «Виллис» и погребли по грязи в гору... Про старшего лейтенанта уже забыли Им на него наплювать!..

Вылезли еще двое из танка... Стоим над старшим лейтенантом... Если бы немецкая пуля убила... Ну, то от

Бога... А что делать с ним, когда свои?.. Лежить парнишка. Грудь — решето... И на черном комбинезоне пятна, что чёрная ночь в погребке. И между губ тонкая красная струйка бежить. Губы синие, а она красная... Хоть плач...

А с-под горы ище один «Виллис» по следам генеральского гребётся. Рядом с шофером стоит кто-то в фуражке. Одной рукой за стекло дежится, а другой белой бумажкой размахиваит, как в плен собирается сдаться... Подлетел этот «Виллис». Выпрыгнул из него майор. И такой веселый...

«Где старший Заверюха?!» — кричит.

Как сейчас помню эту фамилию.

А к нему башнер подходит, руку к танкошлему... А она не поднимается. Все в сторону танка падает. А майор кинулся на этого башнера, как они сто лет не видались, и давай его обнимать.

«Твой командир — герой! — кричить. — Получил Героя! — и бумажкой трясет. — Ты понял?! В нашем батальоне свой Герой Советского Союза!»

А башнер глаза в грязюку прячить, як тая свиня, и от майора рожу воротить. Выходить, что он во всем виноватый... И бубонить:

«Там... там...»

Увидел майор танкиста, нас раскидал, а сам на колени... И давай старшего лейтенанта за плечи трясти. А чего трясти, если из него до тебя уже душу вытрясли...

«Кто!?» — тихо спрашивает.

Ой, як я боюсь, которые тихо разговаривают. Если человек кричить — значить, скоро успокоиться. А который тихий — от него надо бежать быстрее зайца.

«Кто?» — Поднялся майор, бумажку в карман сунул.

Башнер стоит и молчить. Он же ничего не видел.

Я подошёл и все доложил, як было. И показываю на «Виллис» генеральский. А тот все ползёт на высотку, как гусеница по жухлому листу...

«В машину!» — крикнул майор.

Двое в передний люк, как цуцьки в будку... шмыг. Раз — и нету. И сразу дизель зарычал... Башнер на башню... В одну дырку, майор — в другую...

Я хотел свои корыга отцепить. Не успел. «Тридцатьчетверка» нас грязью, как вожжами, лупанула. Закрутилась на месте, забуксовала, а потом ухватилась за землю и попёрла.

«Виллис» уже на самой верхотуре высотки. А «тридцатьчетверка» нагоняит... Еще десять метров... и «мериканец» выскочил на самый бугор. Стоит на фоне ясного утрешнего солнечного неба, як намалеванный, як хто

его по контуру из чёрной бумаги вырезал ножницами, и на белую стенку приляпал.

А танк ползёт...

Я гляжу и почти плачу... Понимаю, шо от моих минометов ни черта не останется. Разшматуются они, как пороса для колбасы... Сало, мясо — управо, жилы — улево.

А шофер, который майора привез, все смыкается... То вскочить, на лобовое стекло ляжить, то опять на сидушку упадёт. Я подхожу и спрашиваю:

«Кто твой майор?»

«Наш комбат!» — отвечает, а сам носом и губами дергается.

«А лейтенант?»

«Заверюха?! Так он два месяца назад шесть танков урыл и паровоз с двенадцатью вагонами немецкими с рельсов спихнул... Немного правое крыло погнул... Комбат его за это чистил крепко».

«Майор куда побежал? — спрашиваю. — Генерал же с трибуной...»

А шофер, как тая собака, шо на цепи, гав мне в ответ:

«Не повезло твоему генералу!»

«Чого он мой!?» — уже зарычал в ответ я.

А на угоре, гляжу, и, правда, что-то неладное. «Виллис» то туда, то сюда... Как блоха от собачьих зубов по шерсти.... Поняли товарищи агитаторы, что на их пистолеты есть дуло поболеей.

«Сейчас дасть! — жадно трясущимся голосом крикнул шофер. И подкинул правую руку, сжатую в кулак. — Ну!...»

«Это чего?» — спросил я, с опаской глядя на кулак.

А у танка ствол упал. Из него вырвался сизый дымок... «Виллис» подбросило, и он задымился.

«Это?! — с веселой надрывностью выкрикнул солдат. — Это — бронебойный!.. А теперь... — он разжал кулак, которым только что грозил всему миру, растопырил пальцы и радостно крикнул: — Ну, давай осколочным, товарищ майор...»

Башня танка чуть повернулась вправо и выплюнула длинную струю дыма. «Виллис», который дымился, вдруг разлетелся на куски. Светлое небо сразу очистилось...

Лукич тяжело дышал и не замечал, как его кулаки мяли воздух, готовые удариться друг с другом. Замолчав, разжал их и схватился за столешницу, как будто она ушлывала от него.

— Лукьяновна, дай стаканчик, — попросил он.

Леонид Арсентьевич достал чистый из-под стола.

Боцман оторвал правую руку от доски, налил водку в новый стакан, накрыл куском хлеба и выдвинул на середину. Налил себе.

Евгений Адамович глянул на Леонида и налил коньяк в три стакана. Все молча выпили поминание...

Лукич снова налил себе и быстро выпил в рот.

— А нам стоять нельзя, — сказал он, не выпуская стакан.
— Говорю шоферу:

«Отвези лейтенанта... Давай, поможем».

Подняли этого Заверюху, уложили на заднее сидение.

«Куда ехать будешь? — спросил я.

«Куда вам?»

«Минометы у нас там. Начальство узреить, горе сплошное...»

«Садитесь».

Мы запрыгнули в машину, и она медленно поползала вверх...»

Боцман вздохнул громко, точно сбросил тяжеленный груз, который он носил до сегодняшнего дня. И сказал:

— От як надо воевать за родину.

— И все-таки жаль, Лукич, что твой комбат промахнулся, — неожиданно сказал Евгений Адамович.

— Як... промахнулся! — возмутился Боцман... — Я сам видал! От того «Виллиса» и агитаторов только кусок красной тряпки остались! Своими глазами...

— Промохнулся, — уверенно сказал директор. — Ты же, Лукич, ему только что огурцы отвесил... Теперь сходи и получи рублики...

— Да пусть он подавится! — выкрикнул Боцман. Долго сидел молча, а потом с грустью добавил: — Кажется, промахнулся...

МАУЗЕР

Незаметно накатил вечер. Солнце долго висело красным пятном над деревьями и вдруг исчезло. Ближние кусты еще можно было разглядеть, а вода и дальний берег слились в сплошную серую завесу, увенчанную в небесной вышине двумя первыми звездами, как короной.

Боцман поднялся и пошел к реке. Вернулся с ватником. Бросил на землю.

— Ты чего удумал, Лукич? — спросила Татьяна Лкуьяновна.

— В четыре надо вставать. Огурцы ждуть на базе.

— Чай попей, — предложил Леонид Арсентьевич.

— Не, — отмахнулся Боцман.

Татьяна Лукьяновна ушла в палатку. Вернулась с надувным матрасом. Сунула его в руки Боцмана.

— Ложись.

Лукич бросил на землю матрас. Улегся и укрылся телогрейкой.

— И мне пора, — сказал Евгений Адамович.

— А мы чай попьём, — востепенулся Леонид, глядя на Евгения.

— Раз в год приедешь, — поддержала Татьяна мужа, — и сразу убегаешь. Говорили, что ты в Ялте был... И не зашёл.

— Я одним днем мотался, — оправдывался директор. — В районо дали машину, чтобы новые парты привезть... Только туда и назад. — И словно желая загладить вину перед ялтинцами, сказал: — Можно и чай.

— И на меня готовьте. — Татьяна налила из чайника в стакан воду и ушла в палатку.

В метре от стола Леонид навалил кучу дров, плеснул на нее бензином и бросил спичку. Пламя вспыхнуло, осветив большой круг возле себя.

— Только сейчас подумал, — сказал он, — что уже лет пять не жег костры. Как приезжаем на остров в апреле, сразу печку начинаем складывать...

— Это плохо, — согласился Евгений. — Сами не замечаем, как романтика из нас выветривается... Остаётся только о ней вспоминать.

— Наград много? — вдруг спросил Леонид Арсентьевич, разводя огонь в плите. — Я тебя никогда и не видел при параде... Надо нам ходить уже, как Погудин — колодки на майку.

— Наград? — ухмыльнувшись, сказал Евгений Адамович. — Какие у меня награды, Лёня? Да я на войне всего один день-то и был.

— Как? — Леонид оставил топку и выпрямившись, повернулся к директору. На его лице застыло удивление. — Ты же говорил... что призвали в сорок четвертом?

— Призвали в сорок четвёртом. А воевал один час, — объяснил Евгений.

— Интересно...

— Ничего интересного. Если бы я был летчиком, как ты... А так — простой солдат, да еще в штрафной роте...

— Ты какого года, Женя? Последним призывали двадцать пятый.

— Двадцать четвёртого...

— А сам откуда? Никогда не интересовался...

– Приуральский...
– А почему Адамович?
– Мои прадеды из Лодзя. Выслали в Сибирь после восстания Костюшки.
– Так ты враг народа, – засмеялся Леонид Арсентьевич.
– Кому как нравится, – равнодушно ответил Евгений.
– У нас в роду... Всё семейство – враги народа... От прадеда.
– А ногу где потерял?
– Я же говорю... в бою. В первом и единственном.
– Лёня! – сказала Татьяна Лукьяновна, выходя из палатки. – Что ты к человеку пристал? Может, ему об этом говорить неприятно?

Она держала в руке большую белую косынку. Подошла к Боцману и укрыла ему лицо.

– Тебе и, правда, неприятно? – спросил серьезно Леонид Арсентьевич.

Евгений Адамович смущенно пожал плечами, но отвечать не стал.

– Бывает... – попробовал избавиться от неловкости Леонид. – Вот... Я послушал Боцмана... Никогда не рассказывал... Правда, Татьяна знает...

– Я много чего про тебя знаю, – делано рассмеялась Татьяна Лукьяновна, явно пытаясь заглушить бестактность мужа. – Вы тут без меня можете принимать окислитель...

Она собрала посуду со стола в большой таз и пошла к реке.

– Если кого-то убил – молчи! – приказал Евгений Адамович.

– Никого я не убивал. Бог миловал...

– Расскажи Адамычу, как тебя из полковников в майоры разжаловали, – сказала громко Татьяна Лукьяновна, спускаясь к воде.

– Неужели? – теперь с удивлением спросил директор.

– Сегодня уже почти всё забылось... Наберу воды. – Леонид снял с плиты пустой чайник, и пошёл следом за женой. Вернулся, поставил полный на плиту. – А в сорок четвертом ого-го, как трясся. Могли расстрелять. Слава Богу, только две звезды сорвали...

– Так ты же полковник, – сказал Евгений Адамович.

– Это уже в сорок пятом вернули, – Леонид поставил на стол чашки, – когда я из Берлина в Москву капитуляцию возил... – Он суетился радостно, словно ему, наконец, позволили делать то, что он очень хотел. – В сорок третьем я получил повышение по службе. Меня из бомбовозов перевели в спецэскадрилью.

– Это что такое?

— Начальство возить. Два раза Жукова возил. Один раз в Гётеборг летал за подшипниками.

— Красивый город?

— Если бы я его видел? — рассмеялся Леонид. Он вдруг опустил руку под стол, достал две рюмки и недопитую бутылку «Каховки». — Приказ: «Из машины не выходить! Ни с кем не разговаривать, кто ящики грузит!» Керосин для дизелей залили... и назад... Давай выпьем, Женя...

— Самолет на дизелях? — с удивлением спросил Евгений, поднимая полную рюмку.

— Сейчас смешно, правда? А тогда тяжелый «петляков» на дизелях... Два — справа, два — слева. Вот только высоко забираться было опасно, — торопливо объяснил Леонид. — На четырех тысячах горючка не хотела в цилиндры поступать. А если дизель заглохнет в воздухе, его не запустишь... Потом на «Ли» пересел. «Ли-2» помнишь?

— А как же, — ответил Евгений. — И сейчас летают. На аэродроме в области видел.

Они чокнулись и выпили.

— Ух! Хорошо!.. Потом летал у Гризодубовой, — радостно сообщил Леонид. — Базировались на Измайловском аэродроме. Это для детей байки, что мы только ночью на «кукрузниках» немца пугали. А наша главное дело — связь с партизанами. Оружие, боеприпасы, медикаменты... Забрасывали людей... Два человека, пять. Иногда по двадцать человек выбрасывали дней на пять-десять... Марш-агентов через фронт перегоняли. Мы их туда на парашюте, а назад они пешадрала через фронт... На ночь глядя к партизанам летали. Приземлишься с трудом. И через час назад...

— Почему с трудом?

— Потому что народ бестолковый. — Леонид снова налил коньяк. — Давай... У них свои таракны в голове, а у нас — свои. По радио условились... справа от полосы шесть огней, а слева восемь... Чтобы знать с какой стороны заходить. И «Т» поставить в начало полосы огнями... Прилетаешь. Огни считаешь. Совсем другие...

Они снова выпили.

— Жаль, нет лимончика. В самый раз сейчас!.. — с веселым сожалением сказал Леонид. Спрятал коньяк и рюмки под стол. — Когда к партизанам летал — ох и надоели эти аэродромы подскока... Только и гляди, чтоб винты не поломать или стойку шасси не погнуть..... А самолёту культю не приделаешь, — рассмеялся он. — Извини...

— Это точно, — согласился Евгений.

– Спрашиваешь у этих аэродромников: «Почему вместо шести костров только четыре?»

«А мы думали – хватит».

«А «Т» почему поставили в середину полосы?»

«Так вышло. Вы рано прилетели. Мы не добежали до конца».

А сбивали каждую пятую, если не третью... Часто сбивали. Мы же без прикрытия. А «мессер», как шальные пчелы... Сам два раза садился на голое поле. Везло...

От воды поднялась Татьяна Лукьяновна. Уселась за стол и принялась заваривать чай.

– Наш пострел тебя ещё не доконал, Женя, своими рассказами? – спросила она, улыбаясь.

– Интересно говорит.

– Сейчас он тебе про устройство всех американских самолетов расскажет, – заметила она. – Ты лучше, товарищ полковник, про свою зазную аэродромную расскажи. Про любовь интересней, чем про гайки и болты. Веселей...

– Давай сначала про то, как разжаловали, а потом про любовь, – попросил Евгений.

– Это одно и то же. – Леонид бросил в костер несколько поленьев. – Вызывает меня Гризодубова. И говорит: «Ты, майор, мне нужен... но приказ. Сейчас поедешь в Москву. Там все расскажут».

Приехали. Завели к генералу Хмельницкому. Сидит в кресле гвоздик с двумя «боевыми знаменами» на груди. Глянул на меня один раз, кому-то позвонил. И вся встреча...

– Хотел про Испанию, – сказала Татьяна Лукьяновна, – а говоришь про Францию. Начинайте пить.

– Не перебивай! – недовольно ответил Леонид. Придвинул к себе чашку с чаем. И, отхлебнув глоток, сказал: – В другом кабинете зачитали приказ, что я назначаюсь командиром эскадрильи особого назначения и с этой минуты – подполковник. Обрадовали и повели по коридору в третий кабинет. Там полковник выдал кучу папок, печать и дозволение распоряжаться кассой... В общем, стал я хозяином.

Привезли на Внуковский аэродром. Подвели к «Ли-2». Какой-то местный начальник говорит:

«Запрыгивай. Изучай».

«Да я его знаю. Уже год на нем...»

«Залазь, залазь...»

Подхожу к самолету. И меня мандраж стал пробирать. Двери в планере по левому борту большие, распашные. В «Ли-2» не так. Забрался внутрь. Пол совсем другой. По обе

стороны фюзеляжа индивидуальные седушки вместо лавок, как в суде. Сел в кресло первого... На панелях приборы незнакомые и расположены иначе, чем я привык... Есть неписаное правило у летунов — не знаешь, ничего не лапай...

— Не в свои сани не садись! — рассмеялась Татьяна Лукьяновна. — А ты полез...

— Не полез, а выпрыгнул с перепугу, — поправил Леонид жену. — И к начальнику, который меня привёл знакомиться с машиной. А он улыбается:

— Узнал?

— Это что за машина?

— Новый американец. С-47. С Аляски пригнали. Еще двигатели не остыли... У тебя три дня, чтоб выучиться.

Три дня я читал книжки, лазил во все дыры. На фоне привычного «Ли-2» этот «американец», что «Ракета» супротив боцмановского буксира.

Лукич всхрапнул громко, точно услышал о себе разговор и повернулся на бок, сбросив с лица белый платок.

— Три радиостанции, радиовысотомер. — Леонид Арсентьевич поднялся и накрыл лицо Боцмана. — Комплекс слепой посадки... Давление в одной гидросистеме, в другой... Это сейчас всякие гироскопы и датчики угловых скоростей. Глаза разбегаются... А тогда... — Он с обидой махнул рукой. — А самое главное — кабина с калорифером. Летишь — не надо одеваться, как будто ты на льдину в Ледовитый океан собрался...

— А в «Ли-2» не было отопления?

— Было... — язвительно заметило Леонид. — Паровая баня. Сам самолет перед вылетом минут сорок разогревали. Ну, и печку внутри тоже кочегарили. Взлетаем, а в кабине, как в парилке. Окна запотевают... И облачности не надо. Вот она, твоя, родная... А у этого «сорок седьмого» было еще одно хитрое устройство — против обледенения винтов и плоскостей...

Ползаю я по этому «американцу», щупаю, разбираюсь, во все дыры заглядываю, а сам думаю: «Как эти угнетатели трудового народа такую прелесть делают? Для кого? От нашего ноги сами драпают. А тут хоть живи..... Даже отхожее место — одно заглядение...»

— Это как? — спросил Евгений Адамович. — В самолете без нужника?

— А чему ты удивляешься, Женя? — спросила Татьяна.

— У нас до сих пор в стратегическом «ту шестнадцатом» ничего такого нет... Вон Лёнин приятель из Энгельса

приезжал. Он там зам по технике... Рассказывал.

— У них, говорил, специальная диета для экипажа на время полета, — подхватил Леонид слова жены, смеясь, — чтоб чего не стряслось на двенадцати тысячах за восемь часов полета...

— Наверняка, строгая должна быть, — сказал Евгений Адамович. — Стратегическая авиация — не шутки.

— И диета «стратегической» называется, — объяснила Татьяна с серьезным лицом.

— Ведро оцинкованное, тряпкой прикрытое — вся диета — рассмеялся Леонид Арсентьевич издевательским смехом. — Так вот... Летим из Внуково... Сел я на место второго. Попробовал штурвал — на себя, от себя. «Американец», как дрессированная собака, хоть медаль давай...

Через два часа приземлились. Аэродром, как игрушка. Все поле выложено стальными штампованными листами. По краям — домики, домики... Оказалось... Его у немца с ходу захватили... Они не успели ничего разобрать. До нас на нем бомбардировщики базировались...

— И где это? — спросил Евгений.

— Под Полтавой... Как на курорт прилетели... Встречают нас три человека. Военврач второго ранга... Тогда уже, правда, другие звания были... А он любил по старинке... Весу больше. Второй ранг... С ним фельдшер — здоровенный детина лет пятидесяти с лицом слона, только без хобота...

— Ну, наконец, про любовь, — рассмеялась Татьяна. — Ты, Женя, погляди, как у нашего донжуана глаза гореть начали.

— И санинструктор... — гордо сказал Леонид, не желая отказываться от характеристики, полученной от жены. — Военврач — под козырек. Докладывает, а мне его слова мимо ушей. Гляжу на санинструктора и голову повернуть не могу... Как штурвал заклинило...

— Если бы так со мной было, — изображая наигранную грусть, заметила Татьяна.

— С тобой было по-настоящему, — ответил Леонид. — А у санинструктора юбочка чуть выше коленок. Чуть-чуть... Сапожки хромовые подбиты в каблучке на полтора пальца от уставного... Глаза голубые, как кто только-только акварельной краской навел... Вода еще не просохла... И за спиной черная коса в жгут подобрана...

— Кукрыникс, — съязвила Татьяна, смеясь. — Кобель старый! — По всему было видно, что и ей эта история нравится.

— Выгрузились... — запальчиво, с улыбкой, сказал

Леонид Арсентьевич. Он увлекся рассказом. — Таскаем мешки и ящики... Пилоты «американца» помогли. И к вечеру улетели.

Спецэскадрилья — я, и трое из медсанчасти.

Ну, а вечером, конечно, знакомство поближе... Военврач выпивку развел, тушенки с перловкой намешали... Июнь... Жарко. Второй ранг — мужик тертый. У домика, где столовая, тент натянул. Костёрчик... чтоб мошкара не донимала...

— Прямо как у нас сейчас, — съязвила Татьяна Лукьяновна. — Вот, Женя, сколько раз уже слушаю... И все жду, когда хоть слово другое вставит. Ну, соври для порядку. Никто же не заметит... Нет. Все слово в слово... Как стишок про муху-цокотуху.

Зашевелился Бощман. Он что-то говорил во сне. Смахнул косынку. Леонид поднялся и накрыл лицо. Уселся за стол, достал рюмки и коньяк.

— За столом сначала не сильно весело, — сказал он, наливая. — А после третьей кровь побыстрее побежала. Ну, давай, Женя, за нашу единственную даму...

— Наконец, и меня вспомнили, — усмехнулась Татьяна Лукьяновна

Евгений и Леонид чокнулись и выпили.

— Я незаметно, незаметно все ближе к санинструктору лешюсь... Ее Капитолиной звали... — полковник оживился. Искося глянул на жену. — А потом заметил... военврач и фельдшер переглядываются загадочно, улыбаются неловко. Мне бы сразу в толк взять, что неспроста это...

Утром прилетел «Ли-2». В нем двадцать пять человек. Начальник штаба, комиссар, начальник парашютной службы и эскадренный механик... Опять вечер знакомств, опять спирт... Опять я Капитолину глазами ем...

— А она? — спросил школьный директор.

— Как будто меня и нет... На третий вечер мы уже втроём ужинаем с начальником штаба и комиссаром. Поужинали. Спать бы. А меня в бой потянуло... Пошёл к медикам лясы точить... Пригласил девку прогуляться... Капа в ответ: «Давайте завтра, товарищ подполковник...» А завтра — на послезавтра. Не выдержал я и после какого-то ужина решил объясниться.

Евгений Адамович посмотрел на Татьяну Лукьяновну, желая увидеть отношение женщины к откровенному рассказу.

— Юношеская любовь не проходит, — сказала она равнодушно, поняв неловкость гостя. — Всё так давно, Женя.

Вспомнишь... Порадуешься... Как помолодел...

— И, видать, мое объяснение было не очень... деликатным. — Леонид продолжал говорить, не обращая внимания на замечания жены. — Капа уперлась руками в мою грудь и говорит:

«Евнухом не боишься стать?»

То все ... «вы, товарищ подполковник, товарищ командир»... А тут — «не боишься?»

«Почему с командиром на «ты?»

«А с будущими немужчинами я всегда на ты». — Ночь светлая, а все равно темно. А глаза голубые сияют.

«Угрожаешь командиру? — Мне бы заткнуться и уйти. А я надуваю обиженное нутро. — А как ты это сделаешь?»

Она тихо поднимает гимнастерку. На юбочке карманчик пришит, в какой писари карандаши хранят. А там «Золинген» .

«Попробуй!» — бравада молодецкая меня распирать стала. Ущемила девка мое мужское самолюбие.

«Юбку задрать — только полдела. — А глазами сияет, будто молнии в параллель с неба кто бросает. — А еще и штаны ниже колен спустить рекомендуется. Только чтоб не жаловались в политотдел. Там гениталии не пришьют...»

— Видишь, Женечка, какие воспитанные и образованные медички были на войне, — сказала Татьяна Лукьяновна. — Не по-русски, а по-латыни с этими кобелями-полковниками разговаривали... Ладно с вами. Про любовь закончилось... я вас оставляю... Спокойной ночи.

Женщина ушла. Внутри палатки вспыхнул свет. Тень ходила из стороны в сторону. Потом огонь погас и тень исчезла.

— И закончилось мое донжуанство, — сказал Леонид.

— Она пожаловалась в политотдел? — спросил Евгений Адамович.

— Нет.

— А за что разжаловали?

— Разжаловали... Совсем за другое. В ближайший вечер приземлились три «американца» с экипажами.

Спрашиваю у командира эскадрильи:

«Откуда машины, товарищ капитан?»

«Из Анкориджа».

«А это где?»

«На Аляске».

«Сам летал?»

«Нас туда не приглашали, — коротко отрезал. — Рылом

не вышли. В Красноярске получили... и сюда».

Леонид Арсентьевич принялся крутить в руках пустую чашку.

— Мы ужинать пригласили капитана... — с некоторым равнодушием сказал он. — С виду — мужик суровый. За весь вечер ни единого слова. Выпьет, зажует и в стену глядит.

Он, как и я — летун. Мне хоть поговорить с кем можно. Сидим за рюмкой в первый вечер.

«Ты мне про себя расскажи, капитан. Если захочу, у особиста папку возьму, прочту. Но без бумажки лучше».

«В аэроклубе Осовиахима начинал. В гражданской авиации пассажиров возил от Москвы до Иркутска. Потом на ТБ-3. Два раза горел. Один раз с парашютом прыгали всем экипажем. Потом месяц перебирались через фронт...»

«Дети есть?»

«Нет. Мать была, умерла. Сестра в Ленинграде осталась. Жива ли — не знаю?».

«А отец?»

«Последнее письмо от него получили двадцать первого июня. Где-то на границе с Польшей был...»

И заходит санинструктор...

— Та самая Капа? — спросил Евгений.

— Она... «Товарищ подполковник, разрешите обратиться? Завтра всем вновь прибывшим в санчасть... С самого утра...»

— Бойкая, а тут как зубы светло: — И... то-ва-рищ капитан...»

Леонид Арсентьевич оставил чашку, взял бутылку с коньяком и капнул на доньшко рюмок.

— Вот почему не люблю рассказывать, — заметил он, глядя в рюмку. — Все время выпить тянет... Прилетели еще три звена «американцев»... На хозяйстве у меня уже двенадцать машин. Летаем каждую ночь. Днем «студебеккеры» груз привезут. Переложим в фюзеляж... И пошли в ночь. Другой раз человек десять возьмём и где-то выбросим. Раза четыре к Ковпаку летали. В первый полет сам ходил, чтоб показать... Я ведь летал. Знал их аэродром... К Федорову пару раз ...

— А как же Капитолина? — спросил Евгений тихо, поняв, что летчик не хочет о ней говорить больше.

— Я, может, и стал бы наседать с любовью. — тихо ответил Леонид. — Да не дело, чтоб в эскадрильи командиры из-за юбки грызлись.

— Комиссар или начштаб перешли дорогу? — так же тихо спросил Евгений.

— Нет. Начштаба из гражданской авиации был. Ему не до любви. Немного контуженный. Но полеты у него — всегда

всё путём. В Самарканд письма писал одно за другим. Там у него жена и две девочки, эвакуированные из Харькова. Сним несколько раз в Харьков на «Виллисе» мотались. Он свою квартиру у «смершников» отымал...

— Как это?

— Квартира целая осталась. Вот и заняли ловцы шпионов... — Леонид продолжал крутить рюмку с коньяком в руке, глядя на ее дно. — А комиссар — человек суровый. С аморалкой строго. Все по инструкции, как на параде. У него все разговоры начинались и заканчивались одними словами: «Так полагается...»

— Ты же говорил, что разжаловали из-за любви, — сказал Евгений Адамович.

— Из-за любви, да только не из-за моей... С того самого вечера, когда первый «американец» приземлился... Когда санинструктор зашла... Между капитаном и Капой роман закрутился. А я в стороне оказался. Капитан на вылет, а она через каждые полчаса к радистам бежит... Где он, как он?... Когда прилетит? Капитан летает, а она нервы себе мотает... И нам за компанию...

Фронт побежал к границе, а мы на месте сидим. Перезимовали. Я полковником сделался. Три машины потеряли... На войне сам знаешь... Смерть сегодня — выпили за упокой душ... А завтра опять воздух, и как новая жизнь... И никому не ведомо, кто вернется на землю живым...

Леонид выпил молча и аккуратно поставил рюмку на стол.

— А по зиме стали замечать, что наша Капа пятнами с лица пошла. Вызываю к себе военврача второго ранга. А он мне с порога: «Знаю. У нее все хорошо. В мае будет рожать». Я от такой уверенной простоты чуть из гимнастерки не выскочил.

«Здесь не парк, а эскадрилья особого назначения!.. Роддом устроили!.. Детские ясли открывать прикажете?! — кричу. Понимаю, что этого делать не следует, а кричу. Люди гибнут сотнями в день, а я как вроде против природы. — Так, товарищ военврач второго ранга, если до комдива дойдёт — тебе отвечать!»

«Да какое, дойдет, товарищ полковник... — Оправдывается, как дите малое. — Командование наше в Москве».

Повез капитан Капу во фронтовой госпиталь рожать. Сейчас не вспомню... Толь в Харьков, толь в Сумы. На моем «Виллисе». Я ему на три дня предписание выдал... Три дня проходит... нету капитана. Через особистов со «смершем»

связался. Ответили — не задерживали. Четвертый день — нет человека...

И, как на зло, заезжают на аэродром семь «студебеккеров», крытых брезентом. Выскакивает из одного знакомый капитан из «смерша» и сует пакет... В штабе читаю: «Выбросить группу и груз». Пошли с комиссаром смотреть на груз. В кузовах какая-то рвань сидит. Кто в чём одет. Народ с помойки... Ватники замызганные. Пилотки, картузы... У кого-то даже шапка-ушанка, хоть и май на дворе. Под ватниками жилетка с шестью магазинами, а в руках у каждого «эрма сороковая». И сапоги хорошие на каждом...

«Что за сброд? — спрашиваю у «смершника». — Кто командир?»

Подводит к одному «студеру», открывает кабину. Из нее выпрыгивает парень лет двадцати, не больше.

«Ты кто?» — спрашиваю.

«А вы кто?» — нагло в ответ.

«Здесь военный аэродром. Я — командир. А люди у вас гражданские». — Говорю, а сам понимаю, что за народ. Я таких «оборванцев» уже добрую тысячу за линию фронта выкинул... если не больше.

«Выполняйте приказ, товарищ полковник!» — сказал этот сопляк и полез в кабину. Перед носом у меня хлопнул дверью.

«Кто такие?» — снова спрашиваю у «смерша».

«Вечером нужно вылететь», — весь ответ.

Деваться некуда. Даю команду готовить самолеты. Начштаба маршрутные карты для каждого экипажа заполняет...

И тут, на мое счастье, из другого грузовика выходит человек лет пятидесяти. В пиджачке, фуражке-восьмиклинке. Через плечо планшетка повешена.

Мой комиссар ему на шею кинулся с радостным криком. И давай они целоваться, обниматься. Ну, точно, как у нас теперь по телевизору в Москве...

— Кто таков? — спросил Евгений.

— Я же говорю... Мой и этот, приехавший — друзья. Они вместе то ли учились, то ли жили по соседству. Бес их ведает. Сейчас не упомяну.

Мой комиссар своего дружка в штаб тянет. По всему видно — уговаривает остаться на денек. А тот отмахивается. Отказывается.

Начинается обычная работа. Сколько народа? Сколько груза? Если семь грузовиков — нужно шесть машин и седьмая — для груза. С грузом обычно «Ли-2» уходил. Он

медленнее летит.

«Оборванцы» в самолеты садятся...

А я лихорадочно соображаю, кого командиром назначить над всей этой кавалькадой? Под кого маршрут расписывать. Будь капитан — не было бы сомнений. Такой полет — уравнение со многими неизвестными. Один случайный «мессер» вывернется из облаков — все мои машины по небу расплзутся, как тараканы ...

Прихожу в штаб. Понимаю — у начальника тоже голова пухнет. А над ним «смершник» стоит, как палач с топором. Сразу понятно — он всем заправляет, а не командир отряда. При нём надо не то что за своими словами следить... За каждым вздохом и взглядом.

Доложили — загрузили «оборванцев». Дал команду радистам прослушать эфир. Начальник метеослужбы доложил погоду.

Я сам решил поглядеть, как народ упаковали. Зашел в фюзеляж. Сидят соколики по обе стороны. Хмурые. Молчаливые. Как будто им рты позашивали. Даже друг на друга не глядят. Глаза в пол.

«Кто умеет разворачиваться в воздухе?» — спрашиваю.

Молчат.

«Кто ходил с парашютом?»

Сидят, как глухие.

«Повторяю вопрос: Кто из вас прыгал и сколько раз?»

«Два раза с вышки», — отвечает кто-то нехотя.

Мне стало все понятно. Москва для срочного дела этот народ собрала. Зачем учить. Дело надо сделать. А что кто-то не долетит до земли живым — на то и война.

Махнул рукой и пошел в штаб.

А за мной забегает начальник парашютной службы.

«Товарищ полковник! — Бедный лейтенант аж задыхается от волнения. — Нельзя лететь! Все парашютно-десантные мешки в заводской упаковке. Не раскроются! Груз потеряем!»

«Так это же хорошо! — кричу. — Сколько времени на новую укладку?!»

«До утра...»

«Иди, перекладывай!»

А сам отдаю команду: «Вылет отменяется!»

Вбегает «смершник».

«Вы операцию срываете! Уже восемь вечера!»

«Я сейчас подниму одну машину — говорю, из последних сил сдерживая себя, — и вас, товарищ капитан, на десантном мешке, который вы привезли, сброшу. Если он раскроется — вам повезло! Идите, одевайте рубашку, в которой

родились! А я за потерю груза отвечать не намерен! Я воюю мозгами, а не любой ценой! И совсем не уверен, что люди, которые в самолетах сидят, долетят до земли... Вы где десантные мешки получали!? Кто проверял укладку!?»

Гляжу, а мои слова для этого человека, как песня китайца. В глазах читаю — побыстрее выкинуть людей из аэродрома к указанному часу... А после — хоть трава не расти.

«Ваши люди даже не прыгали с парашютом! Только с вышки... Пока мои не переложат мешки — все останутся на аэродроме. Так и доложите... кому хотите!»

«А когда? — взмолился «смершник». — Нельзя не успеть...»

«Кто посылал, пусть и думает!»

— За такие слова... — сказал Евгений с иронией. — Повезло, что только разжаловали.

— А утром капитан вернулся... И сразу ко мне. Радостный. Сын родился.

«Чего так долго?» — спрашиваю.

«Капу определял. Место в литерном поезде до Омска выбегивал. Не хотели сажать... А «студеров» откуда столько?»

«Тебя дожидаются. Летишь шестью машинами. Ты — старший. Сброс между Житомиром и Дубно. Иди готовься. Сейчас выпущу разведчика погоды...»

Леонид Арсентьевич повернулся на скамейке, взял палку и принялся ковыряться в костре — сноп искр поднялся над лагерем. Нагнулся, выдернул из кучи дров несколько толстых палок и бросил в костер.

— Улетели. Семь, как теперь говорят, бортов, — сказал он. — В ночь. К утру вернулись все... И опять жизнь на аэродроме пошла своим чередом. Летаем к Ковпаку, к Медведеву, к Сабурову ... Я уже про этот «оборванский» десант и забывать стал. Решил — через фронт, обратно, без нас перебрались. Как вдруг заявляется знакомый капитан-«смершник». Сует пакет. Вскрываю: «Забрать из аэродрома подхвата группу. Количество машин — 1. Без дозарядки.» А аэродром подхвата только за Винницей, у Ковпака. Одна машина — баба с воза... А на этот аэродром подскока только капитан и умел без приключений садиться. Вызвал его к себе, объяснил задачу.

Улетел в ночь капитан...

Утром жду. Нет машины. Уже звёзды замигали и луна вылезла из-за горизонта — а капитана нет. Душа у меня не на месте. Одал готовность всем службам! Радисты слушают эфир... А я хожу вокруг штаба и, как слепой боров, уши под

любой шорох подставляю. Мне всё кажется — я слышу...

— А если бы немецкие бомбардировщики? — спросил Евгений Адамович.

— Они за линию фронта и нос уже не казали. Была зенитная батарея. Так зенитчики на взлётной полосе траву выдёргивали...

Утро занялось — слышим, небо гудит. Я своих уже по звуку узнавал...

Приземлился... Выруливает. Я бегу навстречу. Как за сыном, за капитаном соскучился, хоть и возраст у нас один. Я на три года старше... Гляжу на стёкла кабины... А как ведет себя первый в кабине — можно сразу понять: хорошо прошёл полёт или с приключениями. Всегда из открытого окна рука и палец большой вверх... А тут даже форточку не отодвинул

Выскочили из фюзеляжа пять «оборванцев», только без автоматов. И их комиссар с ними... Следом — экипаж. Последним — командир.

«Что случилось? Как слетал?» — спрашиваю.

«Долетели... — Отмахнулся капитан недовольно и пошел в свой сарайчик. — Рапорт потом».

Подошёл я к комиссару «оборванцев» и спрашиваю:

«Где ваш командир?»

«Погиб».

«Давайте в баню! — А сам пошёл к старшине-радисту из экипажа. — Что с вами?»

«Да чуть не убились на этом аэродроме подскока. — А сам глядит на уходящих «оборванцев». — Этот комиссар запретил костры жечь, как условились. С факелами стояли вдоль полосы. А «Т» не зажигали... Если бы не товарищ капитан, мы бы плоскости об дубы порвали и винты погнули. Он так тормознул, что чуть носом не клюнули. Только шланг левого шасси оторвали. Вот почти сутки ремонтировались. А этот, — радист указал в сторону, куда ушли «оборванцы», ходит вокруг и долдонит: «Скоро!? Скоро там?! Как ему скипидаром задницу кто вымазал. Злой этот комиссар... Хотели связаться с вами, так этот... радиосвязь запретил».

«Почему?»

«Чтоб не выдать себя немцу...»

Зашел я к капитану. Сидит за столом. Перед ним стакан.

«Прекратить пить! — кричу. — Долетел и хорошо. Сейчас механики все починят!»

А капитан только кивает, соглашаясь, и молчит. А в глазах какая-то безысходность и открытая боль.

Вынул я стакан из руки.

«Живой... и хорошо. У тебя сын... Собирайся, у меня

вышьем».

— А разжаловали за что? — спросил Евгений Адамович.
— Ты меня до утра собираешься мурьжить? Время уже... Десятый час...

— Будет и свисток, Женя, — ответил Леонид. — Скомандовал готовить вечеринку.

Комиссар мой суетится больше всех. От своего дружка не отходит, как хвост радующейся собаки возле хозяина — то справа забежит, то слева.

Сидим за столом. Как всегда, первую — за счастливое возвращение. Вторую — поминальную. После четвёртой пошли перекрестные разговоры, кто куда.

Я спрашиваю у комиссара-«оборванца»:

«Почему так много народа потеряли?»

«С врагами советской власти тяжелей, чем с фашистом воевать», — отвечает.

А военврач напротив сидит. И спрашивает:

«Это какой же враг у советской власти в лесу, где ещё немец хозяйничает?»

«А я думал, вы с немцем воевать летали», — сказал мой начштаб.

«Есть враги пострашней немца, — сказал комиссар-«оборванец»: — Вот с такими неучтенными «партизанами» и разбирались... Два раза их командиру предлагали влиться к товарищу Ковпаку или другому настоящему партизанскому командиру. Не захотел. А перед войной был генерал-майором Красной армии. Немца двадцать второго июня крепко потрепал, а враг... Три раза посылали в нему политпредставителей... Послушал. И отправил назад! Заявил, что без комиссаров вэкапэбэ немца удобней бить... Сволочь!..»

«Пусть бы и бил», — сказал военврач.

«У тебя, я погляжу, полковник, — нервно заметил комиссар-«оборванец», — в полку с политработой плохо. — И смотрит на меня, точно допрашивает. — Ты мне нравишься... Объясню. Считаю, что это первая политинформация... Все под руководством партии бьют фашиста, а один сам по себе! Вот таких надо под ногу в первую голову...»

И вдруг капитан... Молчал, молчал весь вечер, и говорит:

«Давайте вышьем за хорошую операцию. — Наливает себе полстакана. И спрашивает комиссара-«оборванца»: — А как вы докажете, что побили врага. Может, просто по лесу ходили, постреляли, а половина вашего народа по сёлам разбежалась... Я на шести туда летал, а вернулся на одном...»

«Что ты несешь, капитан?!» — кричу про себя, сапогом на его сапог давлю.

А комиссар-«оборванец» встал, взял свой вещмешок и вынул и него «маузер». И положил передо мной, точно ждал от меня главные слова. И говорит:

«Вот доказательство».

Я гляжу на этот «маузер». Пистолет, как пистолет. Только в углублении над спусковой скобой белая пластинка вставлена. А на ней надпись «...лучшему герою Ю.-Вос. фронта от тов. Троцкого».

«Это вы из-за одного «маузера» столько народа положили?» — спросил подвыпивший военврач.

«Вот про этот «маузер» все в Москве знают, — заявил комиссар-«оборванец» и ткнул пальцем в потолок. — Предлагали этой сволочи-командиру сдать его, как полученное от злейшего врага советской власти и товарища Сталина». — И вернул пистолет в вещмешок.

Он налил себе в стакан. Мой комиссар последовал его примеру.

«Вот, полковник, за кого надо выпить... — сказал комиссар «оборванцев», глядя на меня. — За твоего капитана... Если бы не он — не взлетели бы... — И вдруг что-то вспомнив, добавил: — А он тебе рассказал, как от «мессера», уходил? Я думал — нам крышка. За сидение держался и молился... пока он виражи выписывал. Никогда в Бога не верил, хоть в церковной школе учился... Отче наш учил, а не верил... А тут вспомнил школьного попа...»

Мы выпили. У всех спирт скомкал лица. Только щёки комиссара-«оборванца» даже не дрогнули.

«Давайте, товарищ комиссар, еще раз полетим, — вдруг предложил капитан глядя на комиссара-«оборванца». И мне: — Позволь, товарищ полковник... Пусть товарищ комиссар посидит за штурвалом».

«Вспомнишь, Калистратыч! — подхватил мой комиссар. — Ведь хотел в летчики!»

«А можно?» — серьезно спросил комиссар-«оборванец».

Я с удивлением посмотрел на капитана.

«Позволь, товарищ полковник», — попросил мой капитан.

«Если товарищ комиссар согласен...» — почему-то ответил я...

Из палатки вышла Татьяна Лукьяновна.

— О чем можно говорить? — спросила она. — Комары не

заели? — И увидев на столе бутылку коньяка, заметила. — Это до утра, Женя. Леня дорвался до слушателя. Он про то, как возил бумаги из Москвы в Берлин и назад?

— Нет. Про разжалование.

— Тогда это долго. — Она налила воду из чайника и ушла.

— Утром капитан запустил двигатели, — сказал Леонид Арсентьевич, проводив жену долгим взглядом.

«На твое место сядет партизан», — сказал капитан штурману.

Помог взобраться радисту и комиссару-«оборванцу» в фюзеляж. Развернул машину и выкатил на полосу. Вдруг боковая дверь открылась. На землю выпрыгнул радист. «Американец» пошел на взлет. И быстро начал набирать высоту, как тот жаворонок. Меня это насторожило. Такого кабрирования транспортники себе не позволяют.

Сделал круг над аэродромом и... вдруг ушел в пике... В километрах трех взрыв и дым...

Я на «Виллис»... Примчались. Уже все догорает среди поля. Стою в стороне и думаю:

«Как это случилось? Перед начальством не отбрешусь. И дернул же меня спирт позволить такое...»

Вернулся. Подходит ко мне радист и записку подает. Читаю:

«Передайте «маузер» моему сыну от деда».

Побежал я в домик, где партизанский комиссар ночевал. Вытащил из мешка пистолет. Повертел в руках... Хоть в пору самому застрелиться... Ну, переверни ты этот «маузер» там, за столом и прочитай посвящение до конца. И не было бы никакого кабрирования и пикирования... Никаких полетов и смертей...

Леонид нервно опустил кулак на стол. Пододвинул рюмку к себе, налил коньяк и выпил.

— До сих пор не отпускает, — сказал он.

— А что написано было?

— На другой стороне пистолета такая же беленькая пластина приклеена. А на ней написано: «Командиру отдельной кавбригады Степуре Логину Георгиевичу...»

— А капитан каким боком к этому «маузеру»? — спросил Евгений.

— Каким боком?.. Капитан — Степура Игорь Логинович...

— ответил Леонид, и после долгой паузы добавил: — Вот за это пике меня и разжаловали...

Он снова налил коньяк и выпил.

— А «маузер» я Капитолине в сорок восьмом отдал. Разыскал и отдал...

ДЕВЯТЫЙ СЫН

Из-за поворота реки стала долетать музыка. И следом за ней в редких прогалах листвы замигали огоньки.

— Туристический идёт, — сказал Евгений Адамович. — Значит, скоро десять. Самое время народу веселиться...

— Дай им Бог здоровья... — сказал Леонид Арсентьевич, глядя в ту сторону, откуда долетала музыка.

— И мне пора, Лёня... Засиделся... Спасибо тебе за хлеб и чай... и генеральский коньяк.

— Это тебе спасибо за судака. Я уже забыл, что есть такая рыба. Всё окуни да лещи...

«В мансарде под крышей
то громче, то тише,
играет гармошка...»

— разносился над вечерней водой чей-то баритон. И его догоняли звуки гармонии.

— Помню, когда призывался в июле сорок первого, во дворе райвоенкомата народ под гармошку тоже веселился... Плясал. Затейник из заводского клуба меха растягивал... Как на свадьбе.

— Война — страшно, — сказал Евгений Адамович. — Гармошка — чтоб не думалось про смерть. Вот народ и веселился.

— А тебя как провожали на фронт? — спросил Леонид.
— Тоже под гармошку?

— Почтальон принес серенькую бумажку, — ответил Евгений и принялся поправлять упряж на культе. — Я — декабрьский. Вот в начале ноября и забрали...

Человек сто во дворе военкомата. С ноги на ногу перетаптываемся. Мороз градусов двадцать — кости через колено ломит... Валеночки стёганые — худой ватник, только на ногах... А из труб военкомата дым парафиновыми свечками к небу тянется — всё тепло с собой забирает. Злость от того донимает больше, чем мороз... Скорее бы на фронт... Да хоть куда, только бы в тепло. Стоим... кто в чём. Голодранцы, в общем... И голодные... И чтоб накормили.

Часа три простояли под конвоем — у ворот солдат в тулупе и валенках с автоматом, и вдоль забора такие же двое ходят.

— А откуда призывали?

— С реки Белой. Из Фирска... Военком появился вдруг — как из-под земли вырос. Ухоженный, упитанный. В кожаном меховике — как теперь дубленка... В смушковой папахе ... Сейчас я понимаю — папаху напялил для значительности... Чтоб генералом казаться. От больших городов, где патрули да «смерш» на каждом углу, далеко. Кто проверит форму? А в деревне и спрашивать не станут. Он ведь самый главный военный на весь район...

Вышел, да как рявкнет: «В две шеренги... становись!»

Зашевелился народ. Все почему-то во второй ряд норовили встать...

«Грамотные есть!? — выкрикнул военком. — Якие по-русски могут? Татарцев и башкирцев нэ нада!»

Вышло нас пятеро. Комендант поманил всех пятерых за собой... и в дверь военкомата. Мы за ним, как мыши в дырку...

Иду по коридору и вспоминаю бабушку родную. Золотые слова её в голову лезут: «В какой стране живешь, тот язык и учи».

— А ты какой еще знаешь? — спросил Леонид.

— Мы дома все по-польски говорили. А в школе русский и татарский. Чуток испанскому учила одна женщина. Ей было лет тридцать. Из Испании привезли в тридцать шестом. Чёрная, прыгучая — чистый соболь. По-русски два десятка слов, а по-своему — соловей заслушается... Скакала из класса в класс и все одну песню напевала... И мы за ней её выучили. Я даже сейчас помню... «Bessame, bessame mucho, — запел тихо Евгений Адамович, — como si fuera esta noche la ultima vez...»

— Тебе бы на пароход, Женя, — сказал серьезно Леонид Арсентьевич. — И писать можешь?

— По-польски могу. А по-испански где? Все забылось.... Но если книги полистать... вспомню.

— А по-татарски?

— Понимаю и чуток говорить могу... Бехетле селен урун... Узем мында коларындым.

— И чего это? — полюбопытствовал Леонид.

— Богатое у тебя место, Арсентич. Сам бы здесь жил...

Мимо медленно проплывал четырехпалубный пароход. Все каюты были освещены, и их свет уходил глубоко в воду, делая этот плавающий дом в два раза больше. Из палубных динамиков девчужка слезно зывала, словно забывтая всем человечеством:

«На пароходе музыка играет,
А я одна стою на берегу...»

Из палатки вышла Татьяна Лукьяновна. Подошла к столу и заметила, точно участвовала до этого в разговоре:

– Сейчас это уже не надо.

– Чего не надо? – спросил Леонид.

– По-польски, по-испански, тем более по-татарски. За границу не пускают. А если вырвется кто, так переводчика дадут правильного... Вы про Лукича не забывайте, а то комары заедят его.

Боцман похрапывал. Стал ворочаться, точно услышал, что заговорили о нём.

Женщина взяла чашку, налила в нее из чайника воду и пошла в палатку. По дороге заметила:

– Разве, если в пустыню Гоби кого отправят, вот там татарский и пригодится. С лошадьми Пржевальского разговаривать...

– Это почему же? – спросил Евгений.

– Сколько картинок навидела... Везде Салават Юлаев с конем, – ответила женщина из палатки.

– Мать, посиди с нами, – позвал Леонид жену. – Женя рассказывает, как на войну ходил.

– Сейчас.

Она вышла из палатки и сказала в след уходящему пароходу:

– Эти бездельники не дадут уснуть... – Уселась за стол.

– Женя, ты рассказывай, не обращай на меня внимания. – И увидев бутылку, с сожалением добавила: – Так вы и не допили! Тоже мне, пьяницы!

– Военком завел нас в комнатку, – заговорил директор. – Усадил к столу, каждому выдал по карандашу и клочку серой бумаги.

«Пышнить», – говорит. И стал диктовать какие-то фразы.

Я сейчас уже не помню их, конечно. Но скумекал, что не спроста зазвал нас начальник.

Снова бабушку поблагодарил за её светлую голову... «Высоко сажу, далеко гляжу...» – любила повторять. Сядет рядом со мной и всё вталдычивает в детскую голову: «Потшебно писать лепей за научителя...» Ты обязан писать лучше, чем учитель... И я стараюсь выводить хвостики... Хуже всего получалась буква «ж». То худая выписывалась, то сильно толстая, как обожравшаяся кошка...

Военком диктует, а я каждую букву вывожу. Как на уроке каллиграфии учила нас учительница... Она из смолянок

была... Её семья в нашем Фирске от большевиков спасалась...

Забрал у нас полковник листочки и выгнал на мороз.

Через полчаса выходит.

«Сикорский кто?»

Я подошёл.

«Скоко классов?»

«Десять».

«Иди, — военком указал на дверь в другом конце здания.

— Тетку Наилю спросиш»...

Толстая, круглолицая татарка Наиля два часа меня мурыжила. Стригла, мыла, кормила... Вокруг ходила и, трясая седой головой и причмокивая толстыми губами, причитала:

«У нас хороший вайна. Очень хороший...»

Я часто видел эту женщину на рынке. В Фирске все друг друга знали. Здраваться, как деревенские, с каждым встречным-поперечным — нет. Но лица помнили. На базаре встречались.

Сижу в исподнем белье. Чистый, наевшийся. Где война? Далеко...

Вошёл военком. Без дубленки, но в папахе. Слева на груди зелёного френча два ордена. Под ним — пять медалей. Полковник плечом дернет — бляшки разговаривают, как церковные колокола. Мне бы прислушаться. Они так шептали: «Не радуйся... Здесь не сахар...Здесь не жизнь ломают... Здесь души калечат...» А мне невдомёк. Суп с картошкой и тёплая печка... Что лучше молоденькому парнишке, который знал только голод и холод.

«Будишь у менэ заместо помошника, — сказал полковник — Пысать ровно, гладко и шоб, як у прыказе, усе буквы на своём месте стоялы. И головное... Чего перепутаешь — под трибунал... Наиля, опридилилы красноармейцу Сикорському койкоместо... Побудка у сем часов. И по вечерам быть у койке. И по девкам не шляться... Взнау. Патруль зразу до меня привидеть... Поняв?»

— А бегал? — спросил Леонид.

— Если по большому счету, то считай, что я ногу из-за любви потерял...

— Может, попьём чего? — спросил Арсентьевич.

— Куда сейчас пить? Я уже дома попью, — отказался Евгений.

— Да кто тебя ждёт?.. А завтра утром с Татьяной поедете внучку смотреть... Я тебя на буксире потащу... — И попросил: — Мать, а угости-ка нас чем-нибудь сладеньким... Мозги требуют.

Татьяна Лукьяновна ушла в палатку и вернулась с

большой коробкой конфет.

— А мы сейчас чаек организуем, — Леонид радостно потер руки. Поднялся и принялся раздувать еще тлеющий огонь в плите.

— При таком тёплом местечке сам Бог велел на свидания бегать, — сказала Татьяна Лукьяновна. Поставила чашки на стол.

— Тёплое, — с иронией сказал Евгений. — То в жар бросало, то в холод по два раза на день... От одних похоронок можно было поседеть...

Каждое утро садился за стол. Как раз против военкома... Приходила почта. Разбирался. Убитые — влево, раненые — вправо. Аттестаты в семью — перед собой. И про каждую бумажку в журнал — кому, куда, от кого и какого числа. Моя пунктуальность очень понравилась полковнику: это — тут, а то — там...

А по вечерам брал я сумку — разносил по домам похоронок и аттестаты. Меня за глаза стали называть Чёрным Писарем. Даже мать взмолилась:

«Геньюш! Не ходзь до людзи. Ходзь лепей на валку! ...»

Сначала трясло, а потом свыкся. Да и с харчами вроде не так тяжело стало. Чего не доем... Хлеб, картошка, похлебка какая — все в дом. Мать... и сестры растут ...

Быстро обнесу, и на край города бегу. Там у меня зазноба... Подружка моей сестры. Ей шестнадцать только-только стукнуло... Посидим у нее в доме. О чем говорили — не вспомню. Картонку послушаем. Совинформбюро... С семи вечера целый час про фронт говорили и песни пели. Там немца побили, оттуда выгнали... Танцевали под «Красных кавалеристов» . Под любую музыку... Даже целовались... Но мамаша её строго следила за нами... Да чего следить? Что возьмешь с молокососов?...

Сидеть у зазнобы — не насидишься. Надо и кабинет прибрать, и сапоги полковнику почистить... Незаметно он меня как бы денщиком-порученцем сделал.

«Ты, Евгэня, на базар збигай... А то я забув... Ты, Евгэня, однэси... Ты, Евгэня, потри мыни чоботы...» — Я на рынок отскочу, картошки или рыбы куплю и домой ему доставлю. Только жена дальше порога не пускала... В исполком или райком с какой бумажкой отбегу... — «Тут, Евгэня, спысок быстренько нада. Казан ждётся...»

А сразу после Нового года военком ногу побил. То ли сломал, то ли крепко ударил. Ходил, как сонный сурок, и на две палки опирался... На два часа опаздывал, а то и на три. Посидит в кресле, для виду бумажки с одного угла стола на

другой переложит и уходит. А бумажек набралось две горы. Полковник сидит и никуда их не прячет. Через неделю подзывает меня и сует связку ключей.

«Ты хлопэць, я бачу, справный. Службу знаешь. Возьмы ключи, и будэш у си документы, якие запысуеш, у личные дела подшивать... Токо никого нэ пускать... Зайшов, накидай крючок на двэри. А вышов — проверь, чи добрэ закрыв замок...»

Я бумаги готовил, а полковник брал их, спускался в подвал. И там в течение часа раскладывал по папкам. И в этот подвал никого не пускал. А как ногу вывернул, спускаться и подниматься стало тяжело. Вот он мне и доверил свое главное дело...

Спустился я в этот подвал. А там как в погребе. И не холодно, и не жарко. Прелым пахивает, но не сильно. Зажег трехлинейку и... Мама родная! В три ряда полки вправо, полки влево и проход посредине. И на каждой под алфавитом папки. Тонкие и толстые. Белые, красные и зелёные.

Каждый день все извещения в амбарную книгу заношу, похоронки регистрирую, в специальные карточки вписываю: кто, когда и где похоронен, имя командира части и начальника штаба обязательно дописываю... И в подвал. По папкам разнесу и наверх....

Боцман во сне сдернул матерчатую косынку. Перевернулся с бока на бок.

— Что интересно — сказал Евгений Адамович, — ни на одной похоронке имя политрука или комиссара не было. Только командир и начальник штаба.

— Не царское это дело за покойника слово молвить, — резко сказала Татьяна Лукьяновна. — За живых — не всегда...

Женщина встала, подошла к Лукичу, накрыла голову косынкой. Налила чай в чашки и выставила конфеты на середину стола.

— В какой-то день была только одна похоронка, — сказал Евгений, подвигая к себе полную чашку.. — Фамилию сейчас помню — Забелин... Записал в книгу, заполнил карточку и в подвал... Снял папку с фамилией «Забелин». Не тот оказался. Вместо Николая — Федор. Его похоронка зарегистрирована в сорок втором, в марте. Взял другую. Опять не мой, а Иван... Похоронка тоже в сорок втором, только в сентябре... Пересчитал... Оказалось, в нашем городе этих Забелиных восемь. Открыл я папку с именем «Забелин Николай Мартынович». Поглядел, когда призвали... Июль сорок четвертого. Положил туда уведомление, что погиб...

И только тут до меня дошло, что все семь фирсовских Забелиных за одним отцом записаны. Все они Мартыновичи. Снова полез в папки. Одни похоронки...

Рядом с «Забелиными» папка стоит. Красная, пухлая. Я бы и не обратил на нее внимания, но фамилия сама кричала... Замайданный...

— Чем она лучше, чем Забелин? — спросила Татьяна Лукьяновна.

— Замайданный — наш полковник-военком, — объяснил Евгений. Он взял из коробки конфету и принялся ее жевать. И сказал, точно оправдываясь. — В человеке всегда сидит червячок гадливого любопытства. И я не удержался...

Снял с полки. В верхнем правом углу рукой самого военкома написано... Я узнал почерк...

«Совершенно секретно. Открывать только по требованию».

Накинул на дверь крючок. Как по инструкции, чтобы никто не вошёл... Поднял фитиль в трехлинейке, точно чувствовал, что света много нужно... Развязал тесёмочки. А там одни похвалы... «За правильное понимание революционного момента и беспощадный расстрел баб и детей врагов советской власти, которые не захотели сложить оружие, чем способствовали прорыву банд генерала Дутова в тыл Рабочее-Крестьянской Красной Армии, командование Вост. фронта награждает тов. Фому Христофоровича Замайданного именной пашкой и седлом. Командующий фронтом М. Фрунзе, член РВС С. Гусев».

Перекинул я эту бумажку. А за ней другая:

«По представлению Коллегии ОГПУ СССР за выдающиеся заслуги при строительстве Беломоро-Балтийского канала и успешную борьбу с саботажниками, диверсантами и белофинскими бандитами награждается Фома Христофорович Замайданный знаком «Почетный чекист»...

Дальше — тоже награды. А что хорошо запомнилось — служил мой военком в цирке, под названием «СЛОИ»

— Цирк в «чека»? — спросила Татьяна Лукьяновна. И словно соглашаясь, с сомнением добавила: — Хотя... Там все может быть.

— И наградили Замайданного, — продолжал Евгений, — как начальника специального отделения... Вот не вспомню сейчас названия... Что-то похожее на разделку свиных туш... Гора какая-то. Или «Топорная», или «Обрубная». Я решил, что это еду для зверей готовили...

Евгений Адамович задумался. Взял конфету, долго ее разжевывал.

— И орден «Боевого Красного знамени» получил, — сказал он, отхлёбывая чай. — Такая хитрая запись в бумажке... «За своевременное пресечение враждебной деятельности карачаевских и балкарских банд в прифронтовой полосе Южного фронта и успешное перемещение поддерживающих эти банды несознательных элементов...» А бумажка свежая, упругая... В сентябре сорок четвертого выдана... Дедушкой Калининским подписанная.

Там еще было грамот и благодарностей целый ворох. А под спудом этих заслуженных бумаг серый конверт. Заглянул я и в него. Там документы на Замайданного Владимира Фомича, двадцать первого года. Справка за подписями каких-то военврачей, что он не годен к призыву в Красную армию по причине болезней. Одну болезнь я понял сразу — слепота... Запомнил: «...ношение специальных стекол-линз, а при их отсутствии перемещение только с сопровождающим...» И еще была одна болезнь. Слово латинское... Или два... Впрочем... какая-то дистрофия, которая на «ад» начиналась.

— Это что такое, мать? — спросил Леонид.

— Адипозогенитальная дистрофия, наверное — объяснила Татьяна Лукьяновна. — Или по-простому... евнух природный... А, может, баланопостит.

— Если евнух, так винтовка из рук выпадает!? — возмутился Леонид.

— Я про эту болезнь потом у сестры спросил, — продолжил Евгений Адамович. — Долго смущалась... Она в медицинское училище ходила...

Кто-то ударил в дверь подвала... Раз, другой.

Перепугался я. Папку замотал, на полку бросил и вышел. Тетка Наиля лестницу мыла...

В конце января снова молодых парней во двор нагнали...

«Спыски приготовыв? — спросил меня военком. — Идэм, будэш чытать».

Стоим на морозе. Я читаю, фамилии выкрикиваю... И добегают мои глаза до фамилии Забелин... Выкрикнул: «Афанасий Мартынович...» Выходит худенький паренёк. «Я» — отвечает и шаг назад. А рядом женщина. Маленькая, сухонькая в сером платочке и черном зипунке. Глаза красные... Видать всю ночь перед тем плакала.

Вернулись с военкомом в кабинет.

Я набрался смелости и говорю ему:

«Товарищ полковник, там Забелин Афанасий... Может его к нам...»

«За шо така честь? Он шпыона спиймав чы дыверсанта?»

«Девятый сын у матери...»

«И чего?» — удивленно спрашивает военком и клюкой пытается раскрыть дверцу топки, чтоб тепла побольше в комнату нагнать.

«Так... восемь похоронок... Пусть бы хоть один остался... Мать — совсем старуха. Того и гляди... Сын похоронил бы по-людски».

«А власть хто будить защищать за нёго!? — закричал военком. Вскочил. Лицо перекошилось от боли в ноге. Он упал на стул. И клюкой о стол. Списки призывников слетели на пол. — Я буду!? Я из малолетства за иё грудьямы стою! И ты — хвашыський прихвостень, туды ж!.. Ище услышу — побегеши у пехоту!..»

Проснулся Боцман. Он встал и, ни слова не говоря, пошел к реке.

— Лукич, чай будешь? — спросила Татьяна, глядя ему вслед. — Свежий.

— Среди ночи пустую воду? — ответил тот. Взобрался на буксир и исчез в рубке.

Костер догорал. Его огненное пятно освещало маленький кусочек ночи.

— В последнее февральское воскресенье выдался вдруг выходной, — сказал Евгений Адамович. Стал крутить в пальцах чашку с чаем. Но пить не стал. — В военкомате только тетка Наиля и я. С самого утра к ней две товарки пришли. О чем-то по-своему, по-касимовски быстро разговаривают и на меня глядят. Явно — я им мешаю. И тетка Наиля говорит:

«Ходи к мама, Зеня. Давно не гулял...»

Мне радость. Если придет военком, спросит меня, тетка Наиля что-нибудь придумает. Уже было...

Сложил в противогазную сумку полбуханки хлеба, пяток вареных картошек, два кусочка сахара откусил от головешки. И побежал... А мысли у молодого парня какие? И вместо того, чтобы домой, дай думаю, сразу к Раисе загляну. Две недели не виделись... А дом её был совсем в другом конце города, на берегу Белой. Вошёл в сени... Слышу — внутри какая-то возня. Точно дерутся. И крик моей Раиски: «Сволочь!.. Скотина!.. Помогите!» А в ответ чей-то мужской: «Заткнись, сука! Пристрелю!»

Вскочил я в горницу... На кровати голая задница чья-то, Штаны до колен спущены... А под ней Рая ужом крутится и кричит... На столе ледяной горой белье, только-только с мороза принесённое. Аромат — голова кругом... А рядом рубель лежит. Должно Раиса гладить собиралась... Схватил

я ту зубчатую деревягу и со всего маху приложился от головы до задницы охальнику... Взвыл от боли похабник и на пол рухнул... А из кармана штанов вывалился «тэтэ». Я стою, держу в руках рубель, точно шашку, готовый еще раз рубануть... если что.

Раиска вскочила... Ей бы платье на колени натянуть... А она хватъ пистолет и, не целясь, выстрелила...

– Молодец, что убила, – сказала Татьяна.

– Не убила, – поправил Евгений Адамович. – Отстрелила...

Он натянул на левую ногу резиновый сапог. Поправил ремни на правой голени.

– Мне пора...

– А ногу-то как потерял? – спросил Леонид Арсентьевич.

– Меня арестовали...

– За что?

– Что сделал инвалидом молодого парня.

– Так это же девка...

– Ну, не буду же я говорить, что это она. Позорить девчонку зачем... В трибунале сказал, что оружие отобрал и специально выстрелил... А почему штаны до колен – не спрашивали... И приговорили к расстрелу...

– А ногу оттяпали взамен высшей меры? – засмеялась Татьяна Лукьяновна.

– Просто повезло. Молодой прокурор другое определение сделал. В штрафную роту определил... В первом же бою я её и потерял... В Кенигсберге дали команду штрафникам отвесную стену какого-то замка штурмовать. Побежали... А возле меня мина взорвалась...

– А ты говорил... из-за любви. – сказал Леонид Арсентьевич.

– Выходит, что именно из-за нее, – ответил Евгений Адамович. – Ну, пора... Засиделись. Я за тобой, Татьяна Лукьяновна, приеду завтра.

Он встал и уверенно пошёл к реке.

– Не надо. Леня привезет, – сказала женщина. – А невестке надавай ниже поясницы.

Полная луна выбралась на южную сторону неба и заливала серебром верхушки верб и речную гладь. Только мигающие белый и красный бакены говорили, что кругом ночь.

– А чего с насильником? – спросил Леонид Арсентьевич, провожая гостя.

– Мать писала в госпиталь, что охальника вместе с его

папашей из города поганой метлой вымели, — ответил Евгений, забираясь в каючок.

— Они вдвоем к девке приставали? — недоуменно спросил Леонид.

— Его папашка — городской военком. Мой хромой начальник...

Евгений оттолкнулся от дна веслом.

— А девятый Забелин?

— Уже тетка Наиля без меня похоронку относил... — донеслось от реки.

Москва, 2011г.

ПОЭЗИЯ

Александр РОСКОВ
(1954-2011)

ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА

Отрывок из поэмы

...И вновь душа моя стремится
(про кабаки не говори!)
в монастыри твои, столица,
в твои, Москва, монастыри.
В Донском, где сумрачно и тихо —
обилие пустых гробниц.
Здесь патриарх-страдалец Тихон
покоится. Склонившись ниц
перед ракою с его мощами,
пройдём за церковь — на погост,
и там предстанут перед нами
надгробия. Вот в полный рост
скорбящий над могилой ангел,
вот ряд старинных домовин
и надписи: в таком-то ранге
лежит такой-то господин
вот в этой каменной гробнице...
Вот Чаадаев здесь — масон.
А вот... А вот из-за границы
совсем недавно привезён
Антон Иванович Деникин —
враг красной власти в годы те.
Играют солнечные блики
на новом простеньком кресте,
знать лаком дерево покрыли,
чтоб не темнел подольше крест.
А рядом с ним лежит в могиле
из тех же привезённый мест
Иван Ильин — философ русский
под тоже новеньким крестом...
Помянем их и тропкой узкой
между надгробьями пройдем
на выход...

Здесь, в Донском, и ныне
век девятнадцатый стоит:
листва трепещет на осине,
и тень на гладь надгробных плит
бросают тополя и клёны,
трава высокая густа,
и воздух напоён озоном...
И вряд ли где ещё места
в Москве — такие вот — отыщешь,
глухие — хочется сказать...
Новодевичий - тот очищен
от зарослей, там - благодать,
там и при пасмурной погоде
нисходит солнце с облаков.
Там спят спокойным сном — Погодин,
Загоскин сам и Хомяков,
литературе русской выдав
всё, что позволил их талант.
Там и поэт Денис Давыдов —
гусар, вояка, дуэлянт
встал над своим надгробьем-бюстом,
там нет могильной тесноты,
там с восхищённым смотришь чувством
на золочёные кресты
и блеск Смоленского собора,
на исполинский его рост.
Там за глухой стеной забора
мирской находится погост,
где схоронили Е.Бе. еНа **,
но нам сегодня — не туда...
Мы посетим, и непременно
Покровский монастырь — да!-да!
где на стене висит икона
(мы здесь бываем каждый год)
блаженной матушки Матроны.
И к ней с утра стоит народ,
заполнив монастырский дворик.
А люди всё идут, идут...
Ах, сколько жизненных историй
услышать за день можно тут,
(чтобы припасть к святому лику
порой не хватит даже дня) —
народ со всей Руси Великой
стоит здесь, головы склоня,
в своём уме перебирая

слова, с которыми пришёл,
чтоб их услышала святая
и помогла... Как хорошо
стоять вот так, в народной гуще,
с едва знакомыми людьми
беседовать про хлеб насущный —
у всех, кого ты не возьми
проблемы иль беда какая...
И каждый со своей бедой
из Краснодарского ли края,
из Мурманска ли — все к святой
блаженной матушке Матроне
приехали — поверить ей
свои печали. Посторонних
на монастырском нет дворе,
здесь люди все — единовѣрцы,
хранимы Господом одним,
они к тебе — с открытым сердцем
и ты — с открытым сердцем к ним.
Какой народ! Какие лица!
Мы — православные! Мы — рать!
В монастырях твоих, столица
струится в душу благодать!
И пусть ты сильно изменилась
за пролетевшие года,
ты и такой мне полюбилась
в последний мой приезд сюда.
Пусть часто я встречаю узкий
точнее — азиатский глаз
в толпе — Москва, ты будешь русской,
такой, какая есть сейчас.
В какой бы здесь я точке не был,
лишь стоит поглядеть окрест:
увиджу — подпирает небо
высокий православный крест,
иль золотой сверкает купол,
и мой, и узкий глаз слепя.
И потому смешно и глупо
нерусскою назвать тебя...

Юрий ПИЛЮГИН

ПРОДОЛЖЕНИЕ

А мы с ним, наверное, странно живем. И очень давно мы вместе. А если считать по годам, то не очень. Но ведь годы... И где все то, что было до него? Где грязь и лица в пьяни? Обиды где? Да нет, и по сей день обиды есть. И все ж не то, не те они. Иные всему цены. Цены... Как глупо это слово!

А я не знаю, как вам рассказать и объяснить. На столе свеча горит. Его свеча, подсвечник красный, медный. По меди — тени, желтый, свет. А может, от обоев он такой. Любил он свечи жечь, смотреть в огонь их небольшой. Но много видел в нем. Теперь зажег и я.

Но все же в осени начало. Далекой осени моего холода и нашего тепла. Она уже вокруг... тро было хмурым. Безлюдье и особая кладбищенская тишина. Безлюдье на кладбище... Странно это. Вокруг столько имен и фамилий, столько лиц живых. На фотографиях. Памятники. Лица серьезные, грустные и даже улыбочивые. Живые лица! Но все из прошлого, застывшее для нас.

И говорю-то я — не я, а он. Речь моя — дочь родная речи его. Слова его и мысли тоже. И в том нет беды, а радость моя есть. Он весь во мне. И вновь...

Да, тихо, все в тиши. Деревья — как ограды. И совсем не похожи на те фруктовые, что посадил он в нашем дворе. А там — ограды. И листья их старые собраны, сметены и дымят на перекрестках аллеек. А те, что в ночь опали, еще мягки, ярко-желты и не шуршат совсем. Но их не очень много...

Кому же и знать его, как не мне? Кому открылся он? Только мне. Ах, как я его знаю!

...Он идет не спеша, ноге подыскивая место вне этих желтых звезд. Для всех на кладбище становится он несколько иным: под ноги часто смотрит и шепчет что-нибудь всегда. Но все это не сразу. Он поначалу оглянется, все еще боясь насмешки. Стариковские причуды. Так решит иной со стороны. Но в этот час и встречные редки. Он погружается в себя и в разговор с женой. И никому не слышен этот разговор.

А сегодня его нет. Необычно долго нет. И я читаю его

дневники. Вот, как раз: «Сегодня был обычный день. Воскресенье, одно из многих-многих. Но нет, сегодня шел осторожнее. Что-то поясницу ломило. У ограды постоял. А подходя, заметил еще издали того мальчика. Он все еще в старом пальтишке. Мерзнет, должно быть...»

Нет, не могу так сразу все читать. И что с того, что ночь за окнами полна еще лета теплом?! Тот мальчик в старом пальтишке... А мне, конечно, было холодно тогда. Он видел это! Как сжимаюсь я весь от холода и сейчас. И холод по лицу бежит, но не до слез, не могу! И почему так тихо?! Что не бьют часы соседей? Только слабо, изредка трещит свеча.

А был я той осенью, кажется, лет девяти. Как все сразу наплывает! Да, лет девяти. Из воскресенья в воскресенье встречались мы на кладбище. Он мне тогда казался хмурым и сердитым. Лицо его грубое и в черной оправе очки... Все оказалось не так. Он приходил, замирал у ограды, спиной или боком ко мне. И плечи его опускались, голова наклонялась, и виднее за шарфом был волос седой из-под шляпы. Он стоял так подолгу, на памятник глядя, всегда забывался и вслух говорит: «Здравствуй, Полюшка». И тут же на меня озирается, но я уже стоял к нему спиной, и он заходил за ограду. Мы были рядом, я видел все это не раз, хотя старался не смотреть. С одного клена ложились листья на могилу матери моей и жены его могилу, как я понял тогдашним своим умишком. Предо мною был холмик поросший да крест деревянный с потертой строкой на табличке. Он стоял за красивой оградой, перед памятником чудным с надписью вязью: «Полина Андреевна Сереброва».

Быстро, быстро свеча уходит. Не успеть, пока горит. Но стон от мыслей тяжелых быстрее. И щеки мои опустились, одрябли, лоб горит, и волосы словно седеют. Нет времени — свеча... О, как я ненавижу грязные углы! Окурки, бумажки, кусочки пирожков...

Было! Было! Нет, лучше его дневник. Пусть окутает облаком осени той. Оно темное, дышит, растет, но света довольно внутри. Покой бывает часто и в словах...

«Уж и не знаю, Полюшка, зачем я стал писать тетрадки эти. Хочется иногда написать тебе. На кладбище приеду и говорю, говорю с тобой. А вернусь, закроюсь и окна задерну... этими... ну, ты же знаешь. Забыл. Материей. Как же их? Бог с ними. Смеешься, наверное, надо мною? Забываю порой и простые вещи. И поесть иногда забываю. Не сердись. В мои годы это не столь важно уже, да и не хочется. Задерну и сию

в темноте при свече. Пламя ее мигнет, и тень живая на портрете твоём качнется. Я подолгу на него смотрю. Тебе всего сорок два. Хотя бы одно словечко твое услышать. Не буду, не буду. Я пишу, а ты из-за спины читаешь. А оглянусь — нет тебя. Темно, лишь огоньки в камнях окладов.

Мне тяжело сегодня, Полянка. И горько так. Я остался совсем один. Только ты у меня. А Лена больше не приходит. Нет, не так, она больше не придет. Я этого не хочу. Сейчас я, сейчас расскажу.

А ты знаешь, приходил вчера к тебе, а у соседней могилы никого нет. Привык я уже к тому мальчику. Он приходит, как я понимаю, к маме. И почему он всегда один? Может, он из детдома? Вид у него такой. Я хочу с ним заговорить, да не знаю, что-то меня смущает. И все приходят ко мне слова из Первой книги, когда вижу его: «Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его». Но каждый раз я ухожу, ничего не сказав.

Прости, я не могу так сразу о Лене. Я долго не говорил тебе. А сейчас скажу. Ты помнишь, как хотел я сына? Я думал только о нем. А родилась Лена. Нет, не подумай, что сделал я что — то из этого чувства. Не знаю, как и начать-то. А тут еще и часы у соседей бьют. Помнишь, как они мешали нам? Ведь все, казалось, давали мы ей. А оказалось, что зря рисовали мы с нею, и зря читала ты ей стихи. Или Борис сделал ее уже такой? Или мы недосмотрели. Помнишь, я не был у тебя одно воскресенье? В то утро она позвонила мне, спросила о здоровье, удивилась, что я еще не уехал к тебе. Я сказал, что сейчас поеду. Я плохо себя чувствовал, шел к трамваю с трудом. А там постоял, подождал и решил вернуться. Плох я был совсем. Поплелся назад. А в дворике нашем наткнулся на машину Бориса. Он ее так не к месту всегда ставит. У Лены, ты же помнишь, всегда был свой ключ, но без меня они не приезжали к нам. Я дошел до двери, замок был открыт, и вошел, как всегда тихо, в прихожую. И тут услышал сердитый крик Бориса. Полюшка, за что мне такое на старости лет? Жили мы с тобой, никого не обидели и вот... Борис крикнул тогда кому-то в моей комнате: «Укладывай последние, не вертись, дура! А я сейчас смастерю для всех кражу. Но он и заявлять не станет». Я не понял сразу ничего, прошел и стал на пороге комнаты. Застыл у порога. А в комнате Лена снимала мои иконы и укладывала в чемодан. А Борис выбрасывал из шкафа одежду на пол. Они заметили

меня. И так мы долго стояли молча. Я уже все понял, стоял и не смотрел на них. Потом Борис сказал ей: «Пошли». Они выскочили, прошмыгнули мимо меня, застучали каблучки Лены на лестнице. А я вошел в комнату и сел рядом с их чемоданом. Что было делать мне, Полюшка? Она ведь так напоминала о тебе. Но ты же знаешь, как дороги мне эти иконы, сколько труда в них моего. Они просили их у меня, но я, конечно, не отдавал. И вот они... Мода сейчас такая. Продают – покупают иконы. Ты прости, что долго не рассказывал тебе об этом».

Как все же давит тишина. И нет покоя в ее заботе. А медь подсвечника уже в потеках восковых. Я же все еще в облаке, мал годами – ростом. Далеко до дня «сегодня». И не вырваться из мыслей!

А кленовые листья мы с могил никогда не сметали. Он только поправлял их, я же никогда не трогал. Однажды он подошел и просто спросил! «Мама?» Я кивнул. Мы постояли и к выходу вместе пошли. И еще он спросил меня что-то. И странным он мне показался. На могилу приходит, в нише памятника свечу зажигает, на скамейку садится, и я вижу, что шевелятся губы его. Он смотрит на свечу и с нею говорит.

И предо мной свеча, И в этой свече тепло того лета. И был я тогда еще с тем, кого называют отцом. Дружков его помню пьяных. Братишку, что старше меня, отец за вином посылает. Сережка не хочет: «Мне не дадут». «В нашем дадут. Скажешь – для папки Рогова. Там меня знают. Сдачу себе заберешь». Сережка меня за компанию взял. А по дороге сказал: «Петька, давай от папки убежим? Во – есть». Он показал бумажки денег. «Давай», – согласился я живо. Мы сели в трамвай и ехали долго. В парке, помню, играли. Смеясь, мороженое ели. И снова ехали куда-то. Мы были по-птичьему свободны! Свободны от грязи в квартире, от грубой руки отца, дружков его страшных. Мы пили свободу взахлеб до темна. А спали мы в парке под старой эстрадной площадкой, травы потемну натаскали и спали. С Сережкой мне было не страшно, он в школу ходил уже. И большие звезды помню в щелях досок.

Птичья свобода так коротка для людей. И редко бывает к тому же. У Сережки кончились скоро деньги, нам стало голодно совсем. И я заплакал о матери ночью, не помня ее почти. А днем не хотел никуда выходить. Сережка меня успокоил, ушел и вернулся. Принес кусочки булок, полпирожков, надкушенных яблок два – три. И все это мы съели...

Чутьочку отдыха, руки сложив. Курил бы — закурил. Да и так... А потом... Ушел Сережка — не вернулся. Я долго ждал его, плакал всю ночь. А утром выполз и пошел. Огромный город, людей половодье. У какой-то станции метро я стал под стеною, заплакал навзрыд. Деревья падали, дома качались и люди плавали в моих глазах. Меня — комочек жалкий — окружили быстро люди. Мороженое кто-то дал. А я держал его и обливался все слезами. И не могли их отереть, остановить. Но подошел высокий милиционер, глаза перестали мокреть. Но остались в испуге распахнуты. Должно быть, детская боязнь, что мы с Сережкой что-то натворили, что нельзя. С Сережкой... Нет, пусть дальше дневник говорит.

«Ноябрь уже, Полюшка. Косточкам моим тепла хочется. А душе и того больше. Приду к тебе, покладу руку на камень — пронзает.

А с мальчиком я уже познакомился. Петей его зовут. Хорошо, да? Я не ошибся, он действительно из детдома. Но больше о нем пока что ничего не знаю. Скрытный мальчик. Но заметил я, Полюшка, такую вот странную вещь. Стояли мы как-то в воскресенье рядом, в церкви зазвонили, а у него и дернулась рука. Но не перекрестился...»

«А сегодня я подумал, что бываю стар лишь иногда. Ты понимаешь меня? То хожу согнувшись, осторожно, а то и пошумлю в трамвае, если с хамом столкнусь. А дома окна не задерну, возьмусь кофе варить. И напеваю даже что-нибудь. Я у тебя еще молодцом. Все хорошо, Полюшка. Ты мое тепло».

«Сколько раз слушал я церковные звоны, а вчера вот только действительно услышал. Задумался и о Пете забыл. Пришла ко мне мысль, что начало и конец едины: рождение и смерть, начало и конец звона. Первые звуки монотонны и в конце такие же. Нет в них еще ничего, пустые они. А в середине звон разноголос, бурлит, в нем жизнь. В конце покой, монотонность — это уход наш. И горько мне стало. Такой быстротечной моя жизнь мне показалась, как звон. Что же я сделать-то успел? Скопил в душе богатство. А для кого? Раздариваю понемногу людям. Нет сына, некому все передать. А все чаще уже слышу я монотонный звон».

«Ах, Полюшка, он все мне рассказал. Я привозил его к нам. Он столько уже натерпелся. Семья их жила где-то на окраине. Маму он почти не помнит, а отец его оказался

подлым человеком. Года три тому назад Петя бежал со старшим братом из дому. Представь, что они пережили, перенесли. Родитель их в тот же день попался на ограблении винного магазина. Соседи заявили о пропаже детей. Петю-то нашли, а вот с братиком его страшное вышло. Где-то у подземного перехода его остановил милиционер, а он бросился бежать от него. Выбежал на дорогу да под машину».

«Полюшка, мне светлее стало жить. Теперь с кладбища я возвращаюсь домой с Петей. Он говорит, что в детдом к нему иногда приезжает соседка по дому, подруга его мамы. Она же и могилу ему указала. А я у него еще не был. Беспокоит меня в последнее время лишь одно. Но об этом потом, когда сделаю все».

«Ему иконы мои и картины Возрождения очень нравятся. Ты ведь помнишь о моей любви к этой эпохе? Станет у них и смотрит, смотрит. В первый день я сказал ему, что это всего лишь копии, сделанные мною еще в молодости, а он не поверил. Я снял тогда несколько, рассказал ему больше о работе над ними, о художниках Возрождения, о том, что камни окладов икон далеко не драгоценные».

... Как все наново повернула в жизни моей та осень. Он так не походил на всех. Он говорил со мной на равных и даже уважительно порой. Я узнал, что он художник-оформитель и был в их мастерской, где бывал потом частенько. Три комнаты – их мастерская. В одной из комнат работала Вера Николаевна. И там же со временем встретил я ее дочь, Марину.

И был последний раз, когда приехал он в наш детдом. Уехали мы вместе и стали жить в его квартире. Поверил я в него, не сразу, но поверил я ему. А в новой школе во время ссор нехорошие леди хлестали меня «детдомом» и «приемным». Но я приходил, и он избавлял меня словом от горьких обид и враждебного чувства. В то время, помню, записал я себе прочитанное где-то: «Ты лучше голодай, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем попало». Не одного меня так понимал он, соседям многим помогал. В особенности молодым. А книги? Такие редкие и дорогие, а он давал свободно всем читать. Недаром было столько людей... Но нет, вернусь в спокойный далекий вечер.

Тогда мне было двенадцать лет. Я, как обычно, вернулся раньше из школы, чем он с работы. До прихода его успел собрать на стол и из уроков кое-что сделать. Обедали мы

вместе. А вечером, все выучив, я вошел к нему в комнату. Горела свеча, он сидел у стола. Но авторучку тут же отложил и улыбнулся мне мягко:

- Что, Петя, готово все на завтра?
- Да, уже, — отвечал я тоже с улыбкой.
- Тогда садись, посумерничаем.

Я устроился в кресле, а он отодвинулся от стола, помолчал минуту и сказал задумчиво, поглядывая на иконы:

– Я вот только что долго смотрел на свечу. О тебе я думал. Посмотри, огонек ее видишь?

– Конечно.

– А что ты видишь в огоньке? Понимаю твое затруднение. Я смотрел на свечу, думал не только о тебе, но и о людях вообще. Иногда это нужно — удивляться просто человеку. Мы все такие непонятные. Один будет смотреть на свечу, заметит, что она тает, что копоть от нее, другой увидит в огоньке ее большую силу всего огня земли. Увидит всю историю, его и нашу: от согревающего огонька пращура до костров инквизиции, пламени металлургии и огненной мощи ракеты. Иной увидит в нем пожары большой войны и даже треск угольев услышит. Вот и хочу я, чтобы ты видел не только внешние черты. Стол — не просто стол. Он деревом был, оно ветвями шумело, пило соки земли. Что осталось в нем от той жизни? Смотри и думай: что за этим, что внутри? Не просто это, нужно привыкать думать. Кто думает, чтобы понять — зла не сделает. Через это приходит мудрость, а это умение растет через нее. А в итоге все приходит к людям, их жизни. Вон, посмотри на ту икону. Огонечки видишь в аметистах? Темный камень. А присмотрись хорошенько к огонькам этим и увидишь далекий и загадочный свет звезд. Что в нем? Возможно, мудрость, такая вершина покоя, что нам не познать ее скоро. А глаза на иконах? Словно внутрь тебя смотрят. Смотри и ты внутрь, замечай чувство. И душа человеческая понятней становится, ближе. Учись понимать глаза человека, видеть в них достойное уважения к нему.

Не по моим желаниям пошла моя жизнь, не от меня все зависело. Хотелось всю жизнь учить человека быть хорошим, с детства учить. Да в школу, видишь, не попал. Ох, эта вечная борьба за хорошего человека... Мало, мало успел. Война не дала. А ваше время — другое.

Тихо в комнате, лишь голос его негромкий, далекий и ясный, да отблеск его очков. Вижу все и слышу, хотя и закрыл

глаза. Много было таких разговоров, толкующих мне азы. Теперь все кажется простым, тогда же было очень нужным.

В шестнадцать познакомился я с Мариной. Вот пришла она к нам в первый раз, это очень отчетливо помню. Показал ей награды его боевые. До прихода его показал. А она все дивилась картинам. Вся квартира у нас в картинах. Потом пришел он, и она улыбнулась ему. Они встречались в мастерской. Он так все нам устроил, оживил. Магнитофон был негромко включен, мы говорили оживленно и чай темнел в старинных чашках. А свет закатный комнату заливал и было нам хорошо.

А вечером мы остались вдвоем. Уютные кресла, приятный сумрак и свеча.

— В твою жизнь приходит новое, — сказал он мне грустно. — Ты понимаешь, я о Марине. Пора уже нам и об этом говорить. Хотелось бы мне очень видеть, как сложится твоя жизнь. А от женщины так много порой зависит. Очень жаль, что не видел ты Полину мою. Иные после свадьбы так преобразаются, словно со свадебным платьем снимают с себя все хорошее, что видели и ценили в них до этого. И за собой-то так перестают смотреть, как в девичестве, и вещи-то лично женские начинают валяться по комнате. А Полина держала себя так, что... Что и забыть я ее хоть чуточку не могу. И не встретил я больше похожей. И разве мог я в те счастливые годы наши думать, что по моим рисункам будут делать ограду и памятник для ее могилы? Вот я и хочу тебе сказать... В жизни так много бывает разных несчастий, не знаешь, когда и грянут они, береги потому от разлада свои обычные дни. Они-то и есть — наши дни счастливые. Не умеют люди только понимать их, сокрушаясь по пустякам, забывая, что главное-то не рушится у них...

Я забылся, забылся в словах! В словах прошедших лет. А он в дневнике: «Полюшка, Петя решил поступать в педагогический. Пусть так. Он никогда не сделает никому зла. Он сейчас готовится к экзаменам, а я вот покопался в столе и нашел листок с его строчками. Я хорошо все помню. Ему было одиннадцать, выпал первый снег. Петя долго стоял у окна, а потом взял карандаш и написал это:

«И вечер,
И конец ноября,
А деревья
белым и новым цветут».

А вчера вечером со мной что-то случилось. Не знаю, Полюшка, что это было. Я стоял у икон и неясный свет делал лики такими, что вдруг какой-то страх меня обуял. Захотелось пасть на колени и молиться, молиться. И так велико было это желание, что с трудом я себя удержал. Да и молиться-то о чем? А все же обидно. Боязнь меня удержала. Чего боязнь? За себя обидно стало. Мелок, мелок. Даже поверить нет сил без оглядки на окружение. И это в мои-то годы.

А сегодня с иной стороны. Петя занимается, а я все о нем думаю и о разном. Все больше плохое из жизни вспоминаю. И вот смотрел я, Полюшка, на иконы, и какая-то смутная пока еще мысль пронзила меня. Была мысль эта о милосердии. Ох, и большое это слово. Должно быть, люди потому и веруют только, потому и обращаются к Богу с неизбывной тоской по милосердию, что не находят его среди братьев своих. Вот и выходит у них, что лучше уж верить в милосердие незримого, чем не находить его в живущем рядом. Но мы-то о тобой верили всю жизнь и знаем, что есть оно едва ли не в каждом, кто мимо идет. Этому и Петю учу».

Три года назад это было. Я занимался, а он думал обо мне! А вчера его похоронили. А я — «живем». Да! Вот и горит свеча и тает. Моя уже горит...

ПРОЗА

Павел ГУЛАКОВ

НА РАСПУТЬЕ

Григорий помнил своего отца едва-едва. В памяти мелькал расплывающийся от времени образ подвыпившего, небритого, с цыганской искоркой в глазах, бесшабашного гуляки и голубятника.

Голуби были самой заглавной страстью Степана Кирьянова. Во дворе их двухэтажного «жилкоповского» дома стояла высокая, похожая на сказочную избушку, голубятня. Большую половину дня Степан проводил там. Работал он в ЖЭКе электриком и, видимо, поэтому времени для занятий с голубями у него вполне хватало. Свою любовь к сизарям Степан не сумел передать сыну. Не успел...

Весной, когда Гришке шёл пятый год, отца не стало. Выполняя ремонтные работы в подвале жилого дома, отец погиб. Вину списали на исполнителя, якобы попавшего под воздействие электрического тока по халатности.

Помнит Гришка, как заплаканная мать, прижимая его к себе, причитала:

— Пойдём, сиротинушка моя, попрощаешься с отцом ... Нету теперь у тебя батьки.

Гринька жался к материнской ноге и с откровенным испугом смотрел на мёртвого отца, лицо которого было пугающе незнакомым...

После смерти Степана голубятня, стоящая во дворе, осиротела. По-прежнему в ней ворковали голуби, но желающих заняться птицами всерьёз не нашлось, и они, оказавшись предоставленными самим себе, вскоре разлетелись... Соседи, глядя на нехитрое сооружение, сокрушённо вздыхали и в один голос вспоминали былые забавы Степана, его залихватский свист и бесхитростный нрав...

Гришка с матерью жили бедно, можно сказать, впроголодь. С тех давних детских лет помнится ему, как старалась мать обустроить их быт. Работала она на канатном заводе, получая за свои труды скромную зарплату, которой на двоих катастрофически не хватало. Каждая копейка в доме была на учёте и, видимо, оттого у Гришки прижилась привычка бережного отношения к своим расходам.

Закончив восемь классов школы, Григорий решил пойти учиться в профтехучилище, чтобы хоть как-то облегчить материнские тяготы. Учился без особого блеска, но профессию слесаря-инструментальщика постигал исправно. Работа с металлом увлекала. Ему нравилось ощущать, как из грубого куска заготовки, с помощью необходимых мастеру инструментов, получалась новёхонькая деталь, обладающая своими размерами и своей значимостью, а грудь дышала легко и до краёв переполнялась гордостью за своё умение выполнить эту непростую нужную вещь. Друзей у него в ту пору было немного. Да и сам он не старался искать их. Наоборот, сторонился, стесняясь своего безденежья и «секондхендовской» одежки. Большую часть свободного от учёбы времени у него была занята тренировками. Любовь к футболу отводила на задний план все увлечения и забавы. Из него, со слов Леонтия Марковича, — тренера команды профтехучилища — вырисовывался отменный нападающий.

Команда профтехучилища, по сложившейся многолетней традиции, принимала участие в соревнованиях на первенство города по футболу и постоянно удерживалась в пятёрке лучших. После включения Григория в основной состав кривая популярности парня заметно поползла вверх, а его усердие на тренировках не прошло даром. Появились первые забитые мячи, появились кое-какие деньги. Ведь чего греха таить: футболисты «Профиля» имели твёрдую финансовую поддержку в виде какой-никакой заработной платы и довольно щедрых премиальных, выплачиваемых спонсорами команды как за победу, так и за забитые голы. Вскоре у Григория появились первые поклонники его футбольного таланта. Одно такое знакомство состоялось в стадионной раздевалке после очередной победы «Профиля». Человек, который и сам для многих был кумиром, вошёл в раздевалку, поздоровался с Леонтием Марковичем, поздравил всех присутствующих с победой и, подойдя к Кирьянову, протянул руку:

— Будем знакомы, Виктор. — Григорий, смутившись, протянул свою. — Ты знаешь, парень, у тебя крепкие ноги и зоркий взгляд. Думается мне, что из тебя вырастет большой футболист. — И добавил: — Ты порадовал нас, Гриша. Давай дружить, не стесняйся, заходи ко мне в любое удобное для тебя время. Буду рад видеть! — И, театрально раскланявшись, распрощался.

— Спасибо, — буркнул в ответ Кирьянов, смутившись от столь высокого внимания.

Это был Виктор Чёрный — руководитель художественной

самодеятельности машиностроительного завода, он же — директор заводского Дома культуры.

Чёрный, закончив с отличием Харьковский институт культуры и имея блестящую перспективу, всё же вернулся в свой город и сразу же стал популярным, сыграв великолепную роль матроса Черноморского флота в поставленной на сцене Дворца культуры пьесе «Черноморцы». В одном из заключительных актов спектакля, когда черноморцы покидают Севастополь, зрителю была преподнесена удивительная сцена: в зале гас свет и откуда-то издалёка звучал голос, проникающий в каждую клеточку сознания...

«...Последний корабль покидал Севастополь... А на корме, широко расставив ноги, стоял Васька-матрос и, развернув меха баяна, пел: «Раскинулось море широко и волны бушуют вдали... Товарищ, мы едем далёко...»

Открывался занавес, медленно зажигался свет... На сцене стоял Васька-матрос (он же — Виктор Чёрный) и, широко растянув баян, пел: «Раскинулось море широко...» Это действовало на публику, как бомба! В зале стояла гробовая тишина. А когда Виктор медленно уходил за кулисы, — зал взрывался бурей аплодисментов... Гриша и сам ему восторженно аплодировал: их, ребят из профтехучилища, водили группой на этот спектакль — в культпоход... Впрочем, приглашением директора Дома культуры Григорий не воспользовался. Его жизнь была насыщена до предела: учёба, тренировки, игры. И потом, Чёрный был лет на десять старше его, возле Виктора всегда крутились развязные с виду, беззаботные парни и девчата, от которых явно пахло куревом и спиртным. А Григорий этого не выносил отродясь, насмотревшись с детства на крепко выпивавшего отца...

Тренер после каждой удачной игры хвалил ребят:

— Молодцы! Хорошая игра. Да вы и сами видите... Главное то, что за нас болеет народ, верит в нас и ждёт следующих побед. И они будут, семь на восемь! Прошу одного, не зазнавайтесь! Не поддавайтесь на сладкую лесть. Победы приходят не сами по себе. Поэтому, что надо делать? Работать и ещё раз работать! Мастерство приходит только к тому, кто день за днём шлифует технику общения с мячом, вырабатывает тактическую смекалку. — А Григорию говорил особо: — Не загордись, сынок. Твой путь только начинается. Не только одни победы будут, узнаешь и неудачи, и просчёты... Главное устоять, не сломаться, остаться самим

собой... Сегодня я вами доволен... Всем в душ, семь на восемь. Через тридцать минут — разбор игры. — И Маркович, как тепло называли его футболисты, грузными шагами, склонив по привычке свою седую голову влево, шёл в комнату администратора стадиона.

Время — неудержимо! На следующий год Григорию надлежало право держать экзамены и прощаться с училищем. Всё чаще и чаще Маркович мучил его одним и тем же вопросом:

— Гриша, ты надумал, что будешь делать? Чего тянуть, ведь у тебя есть только два выхода: или уйти в армию, или поступить в институт. И то и другое решение меня, как твоего тренера, никак не устраивает. Но у меня болит душа! Не хочу, чтобы твой талант пропал, не найдя своего развития. Что ты молчишь, как пень?

— А что я могу, Леонтий Маркович? Будет как будет, — отвечал, не глядя на наставника, семнадцатилетний парень.

— Ты мне не философствуй, семь на восемь. Решение надо принимать уже сегодня, а не тогда, когда жареный петух клюнет. Ты видишь, что вокруг тебя творится? Развалили державу, растащили её богатства; поцаревать им, видишь ли, захотелось, семь на восемь... Нету ни в чём порядка. Да и армия, скажи мне, какая это армия? Курам на смех! Как ты смотришь на институт физкультуры? У меня там старые связи остались. Думай сынок, думай... — И Маркович, хлопнув по плечу Григория своей широченной ладонью, привычно склонив голову влево, грузно отправился своим курсом.

«Хорошо тебе, Маркович, наставлять. А тут голова идёт кругом... Бабуля слегла... Заладила: умирать собираюсь. Прописать тебя, Гришенька, у себя хочу, а то пропадёт квартира. Мы ведь с дедом твоим, царство ему небесное, давно уговорились об этом...» — Так размышлял про себя Григорий. Его мучило ещё и то, что мать стала всё чаще заводить долгие разговоры о смысле жизни и всякое такое... Он давно подметил, что она стала модничать, подолгу задерживаться на работе. Это в её-то сорок три года? Невесту из себя корчит. Во даёт маманя! А, может, так и должно быть? Что она в жизни своей хорошего видела? Вечно пьяного отца, его голубей... Но она же любила его! Он своими глазами видел, с какой нежностью перебирала мать редкие отцовские фотографии. Видел её слёзы... Трудно понять. А понимать надо. И решение принимать, как говорил Маркович, тоже надо...

На следующий день, возвращаясь с тренировки, Гришка

решил проведать бабулю. До её дома всего две автобусные остановки. Пошёл пешком. Вечерело. Багровое солнце закатывалось за Меловую гору, торопясь на покой. В воздухе висел горьковатый привкус сгоревшего угля и выхлопных газов. Высоко над домами охотились городские легкокрылые ласточки. Его узнавали и здоровались. Гришка шёл вперёд, не придавая особого значения своей популярности. Он отлично понимал, что стоит ему оставить футбол, его тут же забудут. Ведь в своей короткой жизни он не успел ещё совершить каких бы то ни было важных поступков, заслуживающих внимания своих земляков, но где-то внутри самого себя верил, — они впереди...

Дверь открыла Оксана Белкина, бывшая его одноклассница. За последних два года она превратилась в настоящую красавицу. Статная, светловолосая девушка с голубыми глазами довольно часто встречалась на его пути, они здоровались, но встретить её в доме бабули... в сознании не укладывалось.

— Привет, Ксюша! — поздоровался обескураженный парень. — Ты чего здесь?

— Привет! — нисколько не смутившись, ответила красавица. — Я принесла Александре Матвеевне лекарство, которое она заказывала. Мои родители переехали в прошлом году на Литейный переулок, так что я живу по соседству.

— Оксаночка, кто там? — Раздался из глубины комнаты знакомый голос.

— Гриша пришёл. — Споро ответила девушка.

— Проходи, внучек! — Радостно пригласила внука старушка. — Вот только одна незадача, прихворнула я, Гришенька. — И, повернувшись к Оксане, распорядилась: — Собери, детка, чего-нибудь к чаю.

Григорий поцеловал бабушку. Взял её руки в свои горячие ладони и присел рядом. Он любил бабулю сколько себя помнил. Она знала и чувствовала эту любовь.

Чай пили с любимым Гришкой вишнёвым вареньем. Александра Матвеевна спрашивала — внук держал ответ. Получив достаточную порцию новостей, баба Шура лукаво поглядывая то на внука, то на прелестную соседку, попросила:

— Гришенька, помоги, пожалуйста! Притомилась я. Полежу малость... Да и за окном уже темно. Ты проводи Оксану до дома, задержали мы её, родимую.

— Не переживайте, Александра Матвеевна, мне же рядом. Я сама доберусь.

— Всё будет сделано, бабуля, — улыбаясь, заверил её

Григорий.

— Спасибо, я и не думала иначе. Дверь захлопните. Ангела-хранителя вам в дорогу, — и трижды перекрестилась на святой угол.

...Выйдя из подъезда, они медленно побрели по ночному переулку. Над городом висела огромная луна, заливая своим лимонным светом дороги, дома, деревья. Городок успокаивался после тяжёлого трудового дня, настраиваясь на короткую летнюю ночь... Первым нарушил молчание Григорий:

— Расскажи, где ты сейчас учишься?

— Эх ты, герой, да я ведь сразу за тобой ушла из школы. Что, не знал?

— Ей-богу, не знал, — улыбаясь, отшутился Гришка. — Ты же знаешь, у меня каждый час расписан. Свободного времени практически нет.

— Знаю. Я ведь на все ваши матчи хожу, — застенчиво призналась девушка, взглянув на Гришу. И помолчав, добавила: — Не замечал?

— Замечал, как же... — И ему вдруг стало стыдно за то, что он ни единого разу не подошёл к ней, не обмолвился словом. Ведь в школе они, кажется, испытывали какие-то чувства друг к другу. И, чтобы выйти поскорее из неловкого положения, повторил свой вопрос: — Так где же ты теперь учишься? — и шутливо подхватив Оксану под руку, близко наклонившись к её лицу, пробасил: — А ну, выкладывай всё начистоту! — И ему отчего-то стало легко и весело. Он давненько не испытывал такого замечательного настроения. Что-то тёплое и нежное разлилось в груди, заставляя гулко стучать его сердце. Старые обшарпанные дома, тротуар, с давно не латанными выбоинами на асфальте вдруг стали до боли родными... Оксана рассказывала о том, что она учится в машиностроительном техникуме, что ей нравится студенческая жизнь... Он слушал, задавал какие-то вопросы... И всё это было словно во сне... Они долго бродили по ночным улицам, взявшись за руки, останавливались, засматривались на высокие звёзды, вспоминали давние школьные истории... и не могли наговориться...

Несмотря на то, что занятия закончились, команда училища продолжала своё восхождение к городскому Олимпу. Кроме официальных встреч на городском первенстве, где «Профиль» уверенно разместился на почётном третьем месте, команда включилась в борьбу за главный трофей — кубок города по футболу. Леонтий Маркович установил жесточайший режим для своих

воспитанников. Никому ни единой поблажки. Тренировки дважды в день. А с первого июля по первое августа команда была переведена в спортивный лагерь, где футболисты находились как бы на казарменном положении под неусыпным оком всевидящего тренера. Цель была поставлена с ориентировкой на высшую планку – победу в борьбе за кубок... В связи с политической неразберихой в стране, крушением предприятий-гигантов, количество команд, претендующих на победу в борьбе за кубок, сократилось вдвое, что и хотел использовать дальновидный Маркович со своими подопечными. Плюс ко всему, при жеребьёвке «Профиль» оказался в удачной для них группе, где выход в финал можно было добыть «малой кровью»...

Финал был назначен на первое августовское воскресенье. Начало матча определили на 16 часов. Все без исключения переживали за погоду. Не дай Бог – дождь! На футбольном поле газон и без того разбит за лето, а если «капнет», беды не оберёшься. При такой игре, на раскисшем от дождя поле, результат непредсказуем. Но погода не подвела.

Казалось, что на стадионе собралось всё население города. Над стадионом стоял непрекращающийся гул болельщиков, сквозь который было трудно разобрать стандартные объявления организаторов соревнования. Громом оваций встретили трибуны выход противоборствующих сторон, но стоило диктору начать оповещение составов команд, шум стих... Прошла церемония поздравления спортсменов, жеребьёвка, установка мяча на центральную отметку поля... Короткая пауза, свисток арбитра и матч начался...

Первый тайм прошёл в обоюдных атаках, однако, явного преимущества ни одной, ни второй команде достичь так и не удалось. Каждая команда трудилась в полную силу, но, видимо, сказавшееся предстартовое волнение сыграло с ними злую шутку.

– Вы, как мокрые куры, двигаетесь по полю! Растянитесь, поработайте флангами, они же боятся вас, толпятся у своих ворот, как овцы! А ты, Гриша, включай ноги, от твоих рывков польза есть для всей команды, семь на восемь! – выговаривал своим подопечным встревоженный складывающейся ситуацией неугомонный Маркович.

Во втором тайме команда в полном смысле преобразилась. Как увещевал мудрый Маркович, «Профиль» включил ноги, разрывая оборону «Машиностроителя» буквально на части. Раз за разом у ворот обладателя «Кубка города» возникали проблемы. У «Профиля» будто открылось второе дыхание.

На шестьдесят второй минуте, после удачного прохода Кирьянова по краю, его выверенную передачу успешно завершил капитан «Профиля» – Василий Лучков. Один – ноль! Вдохновлённая взятием ворот противника команда бросилась вперёд. Завязалась обоюдоострая игра. Атаки с обеих сторон следовали одна за другой. За пять минут до окончания игры Григорию удалось освободиться от опеки крайнего защитника и выйти на ударную позицию в штрафной площадке «Машиностроителя», но «чистильщик» противника буквально «сносит» Кирьянова. Пенальти! Мяч устанавливается на одиннадцатиметровую отметку, и всё тот же Василий Лучков делает «дубль». Два – ноль! До конца игры остаются считанные минуты. Машиностроители обрушиваются на ворота «Профиля» шквал атак, но тщетно. Звучит финальный свисток арбитра. По-бе-да!

После взаимных объятий и поздравлений игроки бросились «качать» своего тренера.

– Перестаньте, черти! Уроните, семь на восемь! – Довольный вниманием своих воспитанников, вскрикивал Маркович.

Награждение победителей проходило при активной поддержке трибун, затем традиционный круг почёта, и дружная команда весёлой гурьбой проследовала в раздевалку...

– Дорогие ребята! Вы сегодня сделали всё возможное и невозможное, а самое главное то, что вы показали хороший футбол! И за это – низкий вам поклон. Признаюсь, вначале дрейфил. Особенно в тот момент, когда Кирьянова валять начали. Ну думаю, забьют хлопца. Ан нет, проявил характер и выстоял, семь на восемь. Впереди ещё будут победы, но эта запомнится навсегда! Именно она показала, что мы есть команда, которой по плечу многое. Уж поверьте мне, тёртому калачу. А ну-ка Василий, подай мне наш завоёванный трофей! – И, трижды перекрестившись, Маркович расцеловал кубок.

...После победы в кубковых состязаниях «Профиль» был обласкан не только спортивным комитетом, но и городскими властями. Было всё... И цветы и премии...

Григорий Кирьянов как футболист значительно вырос в глазах болельщиков, превратившись в живую местную легенду. О нём стали много судачить поклонники «Профиля», предрекая ему яркое будущее. Однако Григорий относился к этим разговорам со свойственной ему прохладцей...

Маркович предоставил команде недельный отдых, и

ребята наслаждались им в полной мере. Григорий не любил шумных компаний, но встречи с Оксаной занимали особое место в жизни взрослеющего парня. Он неожиданно для себя начал осознавать необходимость встречи с девушкой, постоянно ощущать её духовную близость, слышать её своеобразный говорок, видеть её искристые, чистые, как горные озёра, родные глаза.

Встречались они теперь два или три раза в неделю, в зависимости от графика тренировок. Но каждая встреча для них становилась ярким и запоминающимся событием.

Приближался день рождения Оксаны – 20 августа, и девушка пригласила парня к себе домой, отпраздновать в семейном кругу, пообещав познакомить со своим старшим братом Михаилом, который к этому времени приедет погостить на недельку. Гришка был явно смущён предложением, он не знал, как себя вести, что подарить... Но что может сделать любовь?! И смущённый Кирьянов сдался. С выбором подарка пособила бабуля, выведав у девушки, какие духи предпочитает именинница. В праздничную субботу, в назначенный час, вооружённый букетом цветов, наш герой робко нажал кнопку звонка квартиры Белкиных...

Всё произошло донельзя просто. Его встретила сияющая Оксана. После того как были сказаны нужные слова и вручены подарки, девушка провела его в гостиную и представила, вначале родителям, а затем присутствующим за столом. Глядя на то, как приветливо встретили его собравшиеся гости и родители Оксаны, Гришка успокоился. Лица гостей светились радушием, а Михаил, брат Оксаны, с которым усадили Григория рядом, оказался приятным собеседником. Общаюсь с ним, Кирьянов каким-то шестым чувством понял, что если человек добился в жизни определённых вершин, обрёл свой голос, выработал для себя своё понимание жизни и своего предназначения – он прост в общении, с ним легко; он добродушен и скромен, что всё это вместе взятое является самым главным его очарованием.

Для Григория, воспитанного без отца, атмосфера, царящая в доме Белкиных, стала приятным удивлением... Никто не перебивал друг друга. К любому высказыванию все относились с особым вниманием. И когда Михаил начал рассказывать о своей работе, Григорий невольно включился в разговор.

– Кузнец, подковывающий лошадей, – профессия древняя, а в последние годы ещё и весьма редкая. Сегодня

отыскать хорошего специалиста не так просто. Лошади ведь совершенно как дети — милые и доверчивые. У каждой из них, как и у человека, есть свой характер, свои «выбрыки». Обычно собак любят за преданность и доброту, кошек — за характер и свободолюбие. Кони обладают и тем и другим, — неторопливо рассказывал Михаил.

— А как же получилось, что, имея высшее образование, вы согласились стать кузнецом? — поинтересовался Григорий.

— Подковывать лошадей, если говорить честно, мне пришлось не по своей воле, — ответил Михаил. И, улыбнувшись чему-то своему, продолжил: — Получив профессию зоотехника, я был направлен на работу в Опытное хозяйство сельхозинститута, куда в то же время завезли партию молодняка для подготовки лошадей к спортивным состязаниям и продаже за границу. Специалист, занимающийся подковкой лошадей, ушёл с работы по семейным обстоятельствам, а другого в институте не нашлось... Вызывает меня к себе в кабинет директор и говорит: «Миша, ты единственный спаситель, выручай! Кузнец уехал, а молодняк объезжать надо... Я уверен, парень ты смыслённый, — сможешь. Вот тебе главная рекомендация — книга самого Будённого «Ковка лошадей». Тут всё написано точно и доступно. Успехов!» Вышел я от директора и думаю: вот те раз, учился пять с половиной лет в институте, а стал кузнецом... Нормально? Но книгу стал читать и, поверь, увлёкся. Сколько там доброго и толкового написано о лошадях!

— И вы всё же решились попробовать?

— Да. В первый раз подковывать лошадь было страшно. Больше всего боялся нанести ей травму, но слава Богу, обошлось... Сегодня я уже не занимаюсь ковкой, но к лошадям у меня любовь особая. Нынче работаю над созданием современной кузницы, где будет всё необходимое для обработки подков. Ведь подкова должна наиболее точно вписываться в рисунок копыта. От этого зависит не только качествоковки, но и резвость скакуна... — Рассказчик умолк и, задумавшись о чём-то своём, склонил голову.

— Но вы ведь — городской человек, а коневодство — совсем из другой жизни!

— Всё очень просто, Гриша. Виной всему мои родительские гены. Ведь мой отец замечательный инженер-механик, а каждый божий день бредит своим селом, где родился и вырос... Такова жизнь, а вернее, судьба...

В город незаметно пришла зима, искусно преобразив знакомые городские пейзажи. Дворы, улицы и переулки, плотно укрытые голубоватым снегом, превратились в удивительно чистые фрагменты морозно-зимнего полотна, излучающего необыкновенный, волнующий сердце свет. Дышалось легко и привольно. В один из таких дней, шагая в училище, Григорий испытывал какой-то внутренний духовный подъём. Его тревожило только то, что с завтрашнего дня у него начиналась трёхмесячная производственная практика на механическом заводе. «Новая знаковая страница в вашей биографии», — как сказал директор училища на подведении итогов по их теоретической подготовке. Встреча с коллективом рабочей бригады его не пугала, а вот профессиональный уровень, умение справиться с производственным заданием вызывало некоторое сомнение. Ведь за время учёбы он бывал на заводе не более двух раз, да и то в роли экскурсанта...

Официально занятия в училище закончились вчера. А сегодня ему надо было получить направление на практику и ряд сопутствующих документов. К тому же, просил заглянуть к нему Маркович.

Под ногами хрустел снежок, лёгкий морозец румянил щёки, мимо пронеслись разноцветные автомобили, далеко впереди из трубы заводской котельной поднимался розоватый дымок. Перед Григорием, как в кино, мелькали яркие сюжеты его короткой жизни. Он думал о том, что ему уже восемнадцать... Что-то ведь удалось ему сделать за эти годы... И всё же... «Чего-то ведь удалось мне достичь, — рассуждал он сам с собою. — Какую оценку можно ставить мне за эти годы? Кто будет выставлять её?» И тут же отвечал: «Конечно, в первую очередь — я сам, моя совесть, во-вторых моё окружение, люди, друзья, родные, близкие...»

Григорий шёл размеренным шагом, погружённый в свои раздумья. Он отлично понимал, что жизнь выносит его на свои нелёгкие дороги, вернее, на их распутье, а сделать точный выбор среди житейских сопутствующих троп надлежит только ему самому...

ПОЭЗИЯ

Евгений ЭРАСТОВ

Я С ТОЙ СТРАНОЙ ДАВНО ЗНАКОМ

* * *

Лист тополиный качается в небе дрожащем,
Шепчет мне тихо, что надо бы жить настоящим,
Болью зубной, комаром, возле уха пищащим —
Жить настоящим.

Надо бы жить этим старым заброшенным садом,
Этими трубами с красным кирпичным надсадом,
Скрипом ступенек и с детства родным звукорядом.
Большого счастья не надо.

Кислою вишней и клена округлою кроной,
Дымом костра и еловою веткой зеленой,
Плеском волны и двухвесельной лодкой смоленой,
Видом с балкона.

Жить настоящим так просто и так невозможно —
Ветер подует, и станет на сердце тревожно,
Страх не унять, и мучителен шорох подкожный.
Как осторожно

Падает время, росой на траве оседая,
Каплей дождя в запредельную тьму упадая,
Робкой травой на откосах моих увядая,
Сжавшись в комочек и в страхе беззвучном рыдая,
Падает время...

РУССКИЙ ЯЗЫК

Молодой, коренастый, зеленый,
Как ты быстро прорвал перегной —
Голубой глубиной окрыленный,
Слишком дикий и слишком родной.

В черноземе по самые плечи,
Рвешься в небо упрямой листвою,
Отстранив иноземных наречий
На корню одичавший привой.

Как ломали тебя и давили!
Прижимали листвою к земле.
Шевелил ты ветвями тугими,
Выпрямлялся в поруганной мгле.

Каждой веткой — погнутой, побитой
Первозданные ловишь струи,
И вплетаются в землю санскрита
Праславянские корни твои.

Литераторов бойкие стайки
Реют в кроне твоей дотемна.
Так в саду одряхлевшей хозяйки
Разрастется порой бузина...

* * *

Самое время от века устать,
Время валяться в траве шелковистой,
Слушать кузнечиков треск да считать
Капли «ку-ку» среди полночи мглистой.

Сладко биение древних кровей.
Пусть одурманенный вечным кошмаром
Твой соплеменник — лесной муравей —
Прет на базар с иноземным товаром.

Глухонемая судьба муравья —
В норки влезать да выигрывать крохи.
Слаще свободная жизнь соловья —
Щелкать в тиши, наплевав на эпохи.

Под шевелюрой притихшей листвы,
Как за стеной меркантильного мира
Нам не увидеть наклон головы
Златоречивого баловня лиры.

Что нам выигрывать? Были б стихи!
Ведь ни на грош соловью не обидно,

Что среди зарослей старой ольхи
Песня слышна, а певца и не видно.

Лишь бы заветные звуки лились,
Лишь бы летели — со щелканьем, свистом.
Если в свободной груди родились —
Не затеряются во поле чистом.

* * *

Ни громких почестей, ни славы мне не надо.
Как долго тянутся божественные дни!
В степи, за городом, беснуются цикады,
И воздух ласковый весь полон трескотни.

За Севастополем, за белым Инкерманом,
За круглой бухтою — шелковица в крови.
О чем трещите вы? О доме деревянном,
О смерти ласковой, мучительной любви.

У юркой ящерики коричневая кожа,
Как старой Библии суровый переплет.
Степная музыка мне кажется дороже
Симфоний Шуберта, их вкрадчивых длиннот.

Шальная оторопь, полуденная свара,
Сухая песенка колеблемой травы.
Цвет темно-бронзовый июльского загара,
Холмы зеленые на фоне синевы.

Какие россыпи полуденного света!
Играет пеною изнеженный прибой.
Как знать? Быть может, и за сумрачною Летой
Все та же музыка и воздух голубой?

ЗИМНИЕ КУЗНЕЧИКИ

Зимние кузнечики в глуши
На морозе русском каменеют.
Как сугробы эти хороши!
Отчего же сердце леденеет?

Вечным снегом убраны дворы.
Замерзают трепетные строчки.
Кажется, стальные топоры
Разрубают воздух на кусочки.

Отчего ж летит со всех сторон
Снежное изнеженное пенье,
Цинковый кузнечиковый звон,
Ледяное мироощущенье?

Разгребая смертную золу,
Обратясь к полуденному свету,
В этом замороженном углу
Выживают русские поэты.

Глядя на чахоточный рассвет,
Проглотив застуженные слезы,
Потрещи-ка, милый мой поэт —
Впереди не те еще морозы.

* * *

Вверх дном опрокинута лодка.
С ней рядом разросся лопух.
Дерет оловянную глотку
Кривой пучеглазый петух.

Не здесь ли от бурных событий,
От долгой войны вдалеке
Бродил опечаленный Митя
С тургеневским томом в руке?

Вздыхал гимназически тяжко,
Мечтал о девице-красе,
И долго валялась фуражка
Под книжкой в помятом овсе.

Росли, наливались колосья.
Катилось зерно по земле.
Пророчила бабка Федосья
Кончину Руси в феврале.

Скорбели апостолов лики,
Слезинки ползли по свечам,

Когда перепуганный Ники
Страну отдавал трепачам.

Как быстро вы вышли из грязи —
Ячейка, толпа, легион.
И падали звездочки наземь
С полковничьих желтых погон.

Вставала Нечистая Сила
Из тухлых полесских болот
Смотреть, как сырая могила
За новой могилой растет.

Неужто не будет иначе,
Не кончится этот распад?
Взволнованный всадник проскачет —
Ему не вернуться назад.

И будет всё то же, всё то же —
Всё те же гнилые дома,
Пейзажик знакомый до дрожи —
Березки на склоне холма.

И будет петух идиотский
Кричать в предрассветную рань,
И трепетно так, по-сиротски
Цвести на окошке герань.

* * *

Здесь чистотел, запуганный острожник,
Заполонил убогие сады,
И мастер-класс проводит подорожник
Искусства придорожной лабуды.

Ромашек рыжих рожицы кривые,
Чертополоха ханжеская спесь.
Подумать, Боже, мы еще живые!
Как странно, что не умерли мы здесь.

И посреди бездонных русских пыток
Стоишь один в семиаршинной мгле,
Ты, враг народа, хилый недобиток
Седьмой воды на жидком киселе.

Бесхозный, беспартийный отщепенец,
Не сознающий всей своей вины,
Всех прав земных шизоидный лишенец,
Пособник лингвистической страны,

Больной клевет замшелой рифмы точной,
Гуденья обезумевших стрекоз,
Воды — так обязательно проточной,
Любви — так обязательно до слез.

* * *

Ребристый лес, волнистый дол,
Болотная трава.
Там чистотел и суходол,
Там кровь моя жива.

Там серебрится в поле лен,
И много лет подряд
Цикорий, лютик и паслен
С ромашкой говорят.

Я не забуду никогда
Свой разговор с травой,
И край, где мертвая вода
Становится живой.
Я с той страной давно знаком,
Я сам из этих мест,
Где всё стоит над родником
Простой дубовый крест.

Там ковшик с ледяной водой,
Там тополь на юру,
Там пахнет греза резедой,
Там я с тобой умру.

* * *

Уже трава готовит пышный пир
За зиму истомившейся сетчатке,
И одиозный сталинский амфир
Средь парка прорастает в беспорядке.

И вспоминаешь разговор дождя
С рябой листвой, и сбор макулатуры,
И кепочку картавого вождя
С кусками проржавевшей арматуры.

Тревожный вой взволнованных трибун,
Весомый слог великого грузина.
И затрапезный пролетарский гунн
Со стеклотарой ждет у магазина.

О, как я не любил ходить в строю!
Но, кутаясь в цветное одеяло,
Я знать не знал, что жил тогда в раю,
И газировка в горле застревала.

Как горько мне, что ты пошла на слом,
Эпоха коллективного психоза,
Где гипсовая девушка с веслом
Роняет заштампованные слезы.

Верни, верни мне свой палеолит,
Страна обмана, ядерный могильник!
Опять клещи несут энцефалит,
И в церкви озабоченно звенит
Бандитской «Муркой» краденый мобильник.

ПУБЛИЦИСТИКА

Александр ГОЛУБЕВ

ГОРЬКАЯ ПОЛЫНЬ ТИХОГО ДОНА**ВЁШЕНСКИЕ ЗАПИСКИ****I**

С крутой Плешаковской горы Еланская станица — как на ладони. В чистую августовскую пору отчетливо видны на крутояре беленые куреня и хаты, поодаль — двуглавая, с покосившимся крестом церковь, а чуть левее, за бывшей мельницей, у полосы старых сосен — золотистый разлив песков. В летние вечера бродяжит в этом краю медвяный дух чебреца, смешанный с горьковатым настоем полыни, несказанно волнующий душу запахом степи и неуловимым ходом времени, похожим на бесшумный полет облаков по низкому южному небу.

Хутор Плешаковский и Елань — соседи. Разделяет их Дон да небольшая с обеих сторон реки пойма, поросшая ветвистым лозняком, а на правом, плешаковском берегу, сизым ракитником и вековыми вербами, за плакучими космами которых, нежно прислонясь к рыжеватым откосам горы, размахнулся во всю ширь изумрудный, в солнечных улыбках одуванчиков, хуторской луг. Напрягая память, вспоминаю описание сенокоса в «Тихом Доне»: «С Троицы начался луговой покос. С самого утра зацвело займище праздничными бабьими юбками, ярким шитвом завесок, красками платков». Как известно из романа, Мелеховым досталась «делянка возле Красного Яра». Но, если отбросить художественные условности и попытаться точно определить расположение обозначенного места, то получается, что сенокосный участок Пантелея Прокофьевича Мелехова находился не «возле Красного Яра», а напротив, поскольку глинистый, с красными прожилками, обрыв глядится в голубое стремя реки с левого берега. Но тогда возникает вопрос: является ли Плешаковский своего рода прототипом хутора Татарского? Ведь его отдельные приметы довольно четко просматриваются в эпосе. Возьмем, к примеру, такую деталь. Перед началом косьбы «...Пантелей Прокофьевич перекрестился на беленький стручок далекой колокольни».

Эта фраза косвенно свидетельствует о том, что именно с плешаковского луга зоркий глаз подростка, будущего автора эпопеи, мог когда-то увидеть белеющую за Доном «главу» еланской церкви.

Красный Яр... малая моя родина. Мимо него из хутора, названного Красноярским, ходил я шесть лет в Еланскую школу, вовсе не подозревая, что негромкий этот уголок донской земли давно прописан в одной из вершинных книг XX века.

Как известно из автобиографии писателя, в 1918 году, когда оккупационные немецкие войска подходили к Богучару, где тринадцатилетний Шолохов учился в гимназии, он прервал обучение и уехал домой. «До занятия Донской области Красной Армией жил на территории белого казачьего правительства». Именно в Плешаковском он видел не издали, а вблизи непримиримую ярость гражданской войны. Средины в этом противоборстве не было, и потому оно носило исключительно жестокий характер. Правда, какое-то время у людей теплилась надежда, что после разгрома белых война пойдет на убыль. Однако конфликт на Дону только усугубился, и особенно зловещую роль здесь сыграла спущенная в начале 1919 года директива ВЦИК по казачьему вопросу, подписанная Троцким и Свердловым.

В известном письме от 6 июля 1931 года к А. М. Горькому Шолохов так оценивал этот документ: «Примером яркой ошибки может служить политика «рассказывания» донского казачества весной 1919 года, которая привела к поголовному восстанию многих станиц Донской области в тылу Красной Армии...»

Шолохов, как он признавался Горькому, в «Тихом Доне» сознательно не упомянул о таких фактах, послуживших непосредственной причиной восстания, как бессудную казнь в Мигулинской станице шестидесяти двух стариков или расстрелы в станицах Казанской и Шумилинской, где количество уничтоженных казаков «...в течение 6 дней достигло солидной цифры 400 с лишним человек».

Рассказывание не обошло стороной и хутора Еланской станицы. В романе Шолохов подробно описывает случаи насилия на донской земле. Некоторые из них имеют непосредственное отношение к красноярским казакам. В XXVIII главе третьей книги «Тихого Дона» хозяин кизячного сарая, где скрывался от преследования Григорий, не без восторга сообщает:

– В Еланской первым поднялся Красноярский хутор.

Позавчера двадцать еланских коммун пошли на Кривской и Плешаковский рестовать казаков, а красноярские прослыхали такое дело, собрались и решили: «Докель мы будем терпеть смывание? Отцов наших забирают, доберутся и до нас. Седлай коней, пойдём, отобьём арестованных. Собрались человек пятнадцать, все ухи-ребята. Повел их боевой казачишка Атланов... Через Дон прискакали на Плешаков. Коммуны у Мельникова на базу отдыхают. Кинулись красноярцы на баз в атаку в конном строю, а баз-то обнесенный каменной оgorожей. Они напхнулись да назад. Коммуняки убили у них одного казака, царство ему небесное. Вдарили вдогон, он с лошади сорвался и повис на плетне. Принесли его плешаковские казаки к станичным конюшням. А у него, у любушки, в руке плетка застыла...

Однако на этом история скоротечного боя в Плешаковском не кончается. Как свидетельствуют старожилы Красноярского, при взятии подворья Мельникова погиб не один, а три казака: Сергей Майданников, Иван Коньшин и Михаил Голубев. Сраженный меткой пулей, Майданников умер там же, в Плешаковском. Его конь уже без всадника перешпыл Дон и на полном галопе прискакал в Красноярский к отчему куреню Сергея. Заглядывая в окна, громко ржал, а из глаз катились не лошадиные — человеческие безутешные слезы. Старый Микола Майданников, крестясь на икону, шептал: «Святой Егорий, оборони и помилуй». Но горе не обошло стороной многодетную казачью семью, дождавшуюся сына и брата с германской войны.

Среди фотографий, хранящихся в нашей семье, особым интересом и бережным отношением пользуются две, выполненные фотомастерами в Петербурге. На одной из них светлочубый казак, оседлав вздыбленного коня, по кличке Васька, лихо размахнулся тонкой, звенящей саблей. Сверху надпись: казак 28-го Донского казачьего полка Михаил Николаевич Голубев. А на второй — мой дед уже в кругу односумов с волнующим на обороте обращением к своей семье: «Дорогие родители: батенька Николай Козьмич и родна мамка Домна Ивановна. Посылаю я вам гостинец и прошу принять его (имеется в виду фотография). Посылаю вам на память и своим детям. Может, не придется итить домой».

Домой, однако, лихому коннику удалось вернуться живым. А вот уйти от пули и, следовательно, от судьбы —

не получилось. Освобождая арестованных сослуживцев, сломавших, как и он, германскую, Михаил Николаевич погиб, что называется, у родного порога. Когда красноярцы «напхнулись», некоторые из них решили отойти через луг к лесу. Был среди них и Михаил Николаевич. Пуля красного стрелка, видимо, достала его коня, небезызвестного Ваську. Сам же старый вояка, вылетев из седла, с размаху ударился о землю и потерял сознание. Все посчитали, что он погиб. Но, пролежав в беспомощности почти всю ночь, казак все же очнулся и на заре приполз к Мельникову базу, где после вчерашней схватки задержался раненый красноармеец. Он-то и добил фронтовика ударом штыка, буквально пригвоздив его навеки к «разродимой сторонуще».

В ту весну на плешаковском лугу росло множество темно-бордовых колокольчиков. Поднявшийся к утру ветер резким порывом собрал их в кучу и они резвым потоком устремились мимо погибшего «за други своя» к каменистой кривской горе. Огненно-красная река с шумом ударилась о меловой выступ и в страхе отпрянула назад.

Хоронили «убиенных» на Еланском кладбище. За подводами, на которых везли гробы, шел боевой конь без походного вьюка Сергея Майданникова.

* * *

Долгое время об этих событиях говорить боялись даже близкие родственники погибших. Рассказывание, а позже – раскулачивание, культ личности Сталина вконец запугали народ. Разумеется, казаки, как наиболее дееспособная часть русского воинства, отчаянно сопротивлялись политике расказачивания и прочим «перегибам» на местах. Из того же «Тихого Дона» узнаем, что сотня красноярских казаков разгромила Еланский ревком, те же «ухи-ребята» отчаянно дрались с красными в период вешенского восстания. Но против народа и сила бывает бессильна. За все содеянное по своей и чужой воле пришлось им расплачиваться отлучением от родной земли. Отчие хутора и станицы вынуждены были покинуть не только руководители, но и тысячи рядовых участников верхнедонского восстания. Многие из них осели в Турции, добрались до Франции... А «боевой казачишка Атланов» вместе с другими хуторянами, крепко насолившими Советской власти, попал в Болгарию. С собой он прихватил еще несмышленного племянника Илью, сына младшего брата. Казакам трудно жилось вдали от тихого Дона. Многие из них в поисках лучшей доли эмигрировали

в Канаду и даже на австралийский континент. А Илью судьба забросила в Чехословакию.

Спустя без малого сорок лет, году в 1957, в Красноярском появился незнакомый человек и, как говорили хуторяне, кубыть, как «иностранного классу». Он был хорошо одет, при галстукe, много фотографировал дом Атлановых. Погостив еще пару дней у дальних родственников, вскоре поехал в Вёшки к одинокой казачке преклонных лет по прозвищу Машка Большая.

Дело в том, что у братьев Атлановых, Николая и Алексея, жен звали одинаковым именем — Мария. По негласному решению хуторян жену Николая нарекли Машкой Маленькой, а Алексея — Большой. Именно ее и посетил представительный иностранец. Беседуя позже со старушкой, он как бы ненароком спросил: «Был ли у вас муж, дети?» — «А то как же, — призналась она. — Муж помер, а сынок с деверем, Костеем, ушел в отступ за границу. Там его, наверно, и убили».

Незнакомец поднялся и срывающимся голосом сказал:

— Мама, да это я — твой сын Илья.

Женщина упала без памяти. Благо рядом оказались милосердные соседи, они-то и привели много повидавшую казачку в чувство. А после Илья долго рассказывал матери о своей жизни на чужой стороне, смерти дяди, по чьей воле он оказался так далеко от дома... Старуха плакала, отыскивая в поседевшем мужчине черты двенадцатилетнего паренька, навсегда покинувшего родную мать и отчую землю.

* * *

Юные годы Шолохова проходили в придонских хуторах — Кружилинском, Плешаковском, Рубёжном, станице Каргинской. Вместе с родителями он частенько бывал и в хуторе Базковском. Эти пояснения я делаю вот по какой причине. Нередко читатели «Тихого Дона» задают такой вопрос: «Чьи конкретные судьбы легли в основу жизни героев эпопеи?» Разумеется, мнений в таких случаях бывает множество, но самым авторитетным, безусловно, является свидетельство самого автора. В беседе с литературоведом К. И. Приймой писатель сказал, что для написания портрета Григория Мелехова он кое-что взял от Алексея Дроздова (плешаковского казака, в доме которого Шолоховы жили одно время). Однако в ходе разработки сюжета стало ясно, что в подоснову образа Григория характер Алексея не укладывается. И тут Шолохов увидел, что более соответствует его замыслу — Ермаков. Бабка Харлампия —

турчанка, у него четыре георгиевских креста за храбрость, за плечами служба в Красной Армии, участие в восстании, польский фронт. Кроме того, Шолохов сызмальства любил донское правобережье и, безусловно, хорошо знал быт и нравы обитавших здесь казаков. Со многими из них был лично знаком, не говоря уже о самом Ермакове. В курене Харлампия Васильевича писатель сживал не однажды и подолгу «гутарил» с хозяином. Запевные строки эпоса: «Мелеховский двор — на самом краю хутора. Ворота со скотиньего база ведут на север к Дону». И далее: «На восток, за красноталом гуменных плетней, — Гетманский шлях, полынная проседа, истоптанный конскими копытами бурый, живущий придорожник, часовенка на развилке; за ней — задернутая текучим маревом степь.

С юга — меловая хребтина горы. На запад — улица, пронизывающая площадь, бегущая к займищу...» Эти и другие ориентиры тамошней местности с документальной точностью зафиксировали подворье Ермаковых и окружающий ландшафт. Я говорю «с документальной точностью», поскольку не однажды бывал в Базках, как в современном обиходе называют теперь станицу Базковскую, (прим. моё – А.Г.), и собственными глазами видел, что усадьба и курень, хоть в обветшалом виде, но сумели дожить до наших дней. Правда, двор основательно зарос бурьяном и побегами молодого клена, изгородь повалилась, скоро и крыша рухнет... Но будем надеяться, что этого не произойдет: ведь земляки Ермакова хорошо понимают, с какой духовной ценностью они соприкасаются каждый день. В меру своей осведомленности старожилы этих мест охотно рассказывают о прототипах «Тихого Дона», хотя вряд ли каждый из них понимает, что это за слово такое чудное — «прототип». И все же энергичная казачка Мария Ивановна Калинина смело утверждает, что Григорий и Акси́нья действительно жили здесь, на краю Базковской, только под другими фамилиями. Акси́нья — Ольга Федоровна Солдатова, Григорий — Харламбий Васильевич Ермаков, Степан Астахов — Осип Иванович Солдатов. Муж Ольги дружил по-соседски с отчимом Ермакова, Архипом Герасимовичем, до тех пор, пока не узнал о тайной связи жены с «горбоносым и диковатым» Харлампием.

Войдя впервые на подворье Ермаковых, невольно замираешь в предчувствии того, что сейчас откроется дверь куреня и на крыльцо выйдет молодой Григорий с крупным сазаном на хворостинке. Постоит минуту, а потом отправится через Панов мост к дому купца Мохова. Еще раньше он

встретит одноклассник Митьку Коршунова и вдвоем, несколько смущаясь, войдут они на террасу, «увитую резьбой дикого винограда», в «пятнистой и ленивой тени» увидят качалку, а в ней — Лизу Мохову. Попутно заметим, что дом Мохова, а в реальности — купца Ивана Ивановича Пугачёва — стоял в центре Базков на площади перед церковью, на месте которой расположился теперь станичный Дворец культуры.

Помимо «треугольника» — Ольги, Осипа и Харлампия Ермакова — и другие базковцы получили бессрочную прописку на страницах эпопеи. В частности, Яков Пятиков послужил прототипом Прохора Зыкова, разбитного ординарца Григория, брата Шумилины-Шамили и, наверняка, многие другие, особенно участники вёшенского восстания.

Приметы правобережной соседки Вёшенской во многих местах романа вошли составной частью в описание хутора Татарского. Некоторые исследователи шолоховского творчества полагали, что местом, где разворачивались узловы́е события эпопеи, является нынешний хутор Калининский. Однако анализ показывает другое: Татарский, безусловно, является вымышленным поселением на донском берегу, вобравшим в себя наиболее типичные черты хуторов и станиц Верхнего Дона. Выше уже говорилось, что плешаковский луг, благодаря творческой фантазии писателя, удачно «прописался» в окрестностях Татарского и стал романтическим местом свидания Григория и Аксиньи. То же самое можно сказать и об охоте на волка в Альшанском буераке, расположенном неподалеку от Базковской. Словом, описание конкретных мест на Дону, портретные характеристики героев взяты Шолоховым, в большинстве своем, из жизни, что и подтверждено писателем в ходе известной беседы с ростовским филологом Константином Приимой, состоявшейся в Вёшенской 29 ноября 1974 года.

* * *

Любое художественное произведение, а литературное — в особенности, естественным образом типизирует судьбы людей. И тем не менее, позволю себе задержаться еще на одной маленькой детали из жизни Шолохова. Как известно, отец писателя был шибамом, скупщиком скота, работал управляющим мельницей в Плешаковском... Ему нередко приходилось бывать в хуторах Придонья, а то и менять места жительства. Некоторое время, скорее всего, в 1919-м году, Шолоховы жили в Рубёжном у Максима Ивановича Воробьева. Отец писателя, Александр Михайлович, водил в

ту пору дружбу с Филиппом Поповым, а по хозяйственным делам нередко обращался к однофамильцу Попова, рубёжинскому казаку Даниле, добрейшему человеку и мастеру на все руки. Он сноровисто подковывал лошадей, отменно ремонтировал колеса бричек, знал толк в шорном ремесле. С сыновьями Данилы Попова — Николаем, Матвеем, дочерью Аксиной и другими хуторскими ребятами — Миша Шолохов играл в детстве. Как-то спросил я у тетки Аксины, жены моего сводного дяди Гаврилы:

— Шолохова хорошо помнишь? Наверно, он смирным был?

— Да то не помню. Бывало, соберемся «на улицу» у Воробьёвых, и мы, девчатишки, кинемся на Мишатку всем кагалом, чтобы его побороть. Так он, как вьюн, вывернется из-под нас, сложит всех собачьим крестом, а сам сядет сверху, да ишо нога на ногу положит. А так, вобще-то, смирным был», — добавляла с улыбкой девяностолетняя старуха, глядя куда-то далеко-далеко в плотно завешанную дымкой наволочь невозвратных лет. Конечно, Михаил Александрович хорошо помнил Аксино: с детской поры это имя было у него на слуху, и кто знает, не рубёжинская ли казачка с голубоватыми, как донская волна, глазами, «подказала» ему чарующее имя главной героини «Тихого Дона»? Правда, говорят, что в Ясенёвке, имении местного помещика Евграфа Попова, где служила горничной мать писателя, одну из служанок старой барыни тоже звали Аксиной. Словом, ответить на этот вопрос довольно сложно, поскольку пути творческие и Господние — одинаково неисповедимы.

О «Тихом Доне» и судьбе Григория Мелехова написано множество исследований. Уж как ни просматривали насквозь строптивного казака: и на солнце, и в лупу, пытаюсь найти в нем зачатки некой червоточины, — чуть ли не патологической вражды к Советской власти. И каждый исследователь, наш ли, зарубежный — в свою дуду дудит. А Григорий покручивает бархатистый ус и грустно молвит «из тьмы времён»:

— Эх вы, потомки. Да никакой я не белый и красный! Я просто человек, донской казак. Не бейтесь вы над разгадкой Мелехова, хотя бы потому, что насилие по отношению к народу было одинаковым с двух сторон. Вы спросите, какого же класса я придерживаюсь? Отвечу: слышал я как-то от одного гимназиста в Новочеркасске даже ученое и страсть чудное слово — гуманист: это, значит, такой человек, кто в обычности вроде бы грешный, а на самом деле — милосердную душу имеет. Так вот, это, как раз про меня.

Брежут отдельные граждане, особенно, которые в очках, будто Мелехов отщепенец. Я — за революцию, но не такую, когда войска окружают хутора, станицы и бьют из пулеметов по хатам, старикам и детишкам. Или вы хотите, чтобы я молча смотрел на измывательства? Извиняйте, у казаков так не принято. Я хучь и крепко ошибался, но честно искал свою стежку к человеческому братству. Повторяю: честно. А вы меня в отщепенцы... Но скажите тогда напередок: рассказачивание, раскулачивание, а опосля культ личности Сталина — это разве и есть Советская власть? Вы только не виляйте, говорите правду-матку... Ради плуга на весенней пашне я бросил винтовку в украинцу Дона, сказав с облегченным сердцем: «Прощай, оружие». Когда хоронил Аксинью, то знал, что расстаемся мы с ней ненадолго. Знал, потому что в Бутырской тюрьме в 1921 году выстрелом сзади был убит усть-медведицкий казак, командарм 2-й Конной Армии Филипп Миронов. В 1927 году в миллеровской тюрьме расстреляют моего прототипа, Харлампия Ермакова. Что и говорить, казаков боялись цари и кадеты, но за что Советская власть их боялась — ума не приложу: учености, видать, маловато. И все-таки считаю, что за политику рассказачивания, безвинную смерть Миронова, Думенко, горе сотен тысяч казаков, вынужденных взяться за оружие и оказаться за границей, не грех и с покойников спросить. Нехай от их имен освободят названия улиц, станций метро и даже области на Урале. Так будет справедливо.

Слово мое одно и последнее: берегите Совесть — иначе пропадете. Это вам говорю я, казак хутора Татарского Вёшенской станицы Григорий Мелехов.

* * *

По делам сугубо творческим звонил я — давненько это уже было — в хутор Пухляковский, одному из правофланговых «донской литературной роты», Анатолию Вениаминовичу Калинин. В конце разговора он на правах старшего посоветовал: «А вы напишите о Марии Петровне».

Времени с той памятной беседы прошло немало, но идея автора знаменитого «Цыгана» буквально наэлектризовала меня. И вот я... в гостях у Марии Петровны Шолоховой. В уютной комнате на первом этаже мы говорим с хозяйкой дома о жизни вообще и, конечно же, о судьбе писателя. Память у жены Михаила Александровича цепкая. Вспоминая гражданскую войну, рассказывает о комиссаре Малкине, который, остановившись в бужановском доме отца Марии Петровны, вдруг стал читать присутствующим список

казаков, приговоренных к расстрелу. На одной фамилии неожиданно споткнулся:

– Гро...мо...гласовский, – с трудом выговорил он непривычную фамилию.

– Громославский, – поправил его Петр Яковлевич решительно и спокойно. – Это я.

Малкин, естественно, опешил. Тут же вызвал председателя станичного комитета Павлова и устроил ему разнос.

– Ты куда меня поселил?

Павлов оказался человеком неробким, ответил прямо:

– Я знаю куда. Этому человеку вся станица доверяет.

Петра Яковлевича Громославского, букановского атамана, белые арестовывали и даже сажали в тюрьму. Но Бог – в образе красноармейцев-освободителей – вовремя приходил на выручку.

Там же, в Букановской, молодой статистик Маша Громославская познакомилась с Шолоховым и вышла за него замуж. Она рано поняла свое назначение в его судьбе, и Михаил Александрович до последних минут жизни хранил нежные чувства к своей супруге. Безусловно, житейские конфликты и их не обходили стороной, но это не помешало Шолохову на закате лет чистосердечно и весело признаться Марии Петровне:

– Живем мы с тобой, Маша, более шестидесяти лет вместе и даже ни разу не разошлись.

А жизнь у супругов складывалась нелегко. Гражданская война, раскулачивание, культ личности Сталина, когда Шолохов, благодаря чекисту Погорелову, чудом избежал гибели. Не люди, а обстоятельства играли людьми. Жестокость стала непременным условием бытия тех лет.

Рассказывают, что после разгрома банды Фомина к его жене в Вёшенской пришли два сотрудника ОГПУ. Женщина сидела в хате и расчесывала на деревянном гребне овечью шерсть. Пришедшие осведомились: «Здесь ли проживает жена Якова Фомина?» Увидев впервые незнакомых людей, хозяйка ответила: «Ее нет дома». Спустя некоторое время, побродив около двора, они опять заявили к ней:

– Значит, ты не знаешь, где жена Фомина?

Женщина, не выдержав, заплакала. Ее тут же связали и вынесли на замерзшую гладь Дона. Быстро проббили топором прорубь, отсекли шашкой груди, а потом – еще живую – затолкнули под лед.

Через какое-то время вернулись односумы Фомина, обезоружили незнакомцев и той же дорогой отправили их «кормить раков».

Классовая война на Дону приобретала характер мести. И надо было иметь недюжинный ум, чтобы в клокочущей страстями повседневности найти правильный выбор. Шолохов, несмотря на юный возраст, нашел его безошибочно. И еще: какие бы грозы над ним ни громыхали, ему всегда «сквозь дым улыбались» глаза его Маши. Во всех бедах она была рядом, выполняя обязанности жены, личного секретаря, домохозяйки и, как пошутила тогда Мария Петровна, даже няньки. Такое «совместительство» оказалось делом трудным, тем более что со свекровью повезло ей не очень. Своенравная и крутая, Анастасия Даниловна не пришлось невестке близко к сердцу. Зато свекор, Александр Михайлович, души не чаял в своих ребятах. Совсем недавно, «презрев» заботы и хвори, Мария Петровна вновь ездила на могилу отца Михаила Александровича.

Попутно интересуюсь, какие качества супруга ей больше всего нравились? Не задумываясь, отвечает:

— Открытость. И еще, — он никогда не был скупым. Если получал гонорар, то старался тут же сделать кому-нибудь подарок. На мое недоумение отвечал, как всегда, в своем духе: «Маша, мне эти деньги ногу жгут».

Одна из казачек в послевоенное время, испытывая великую нужду, обратилась к Шолохову за помощью, написав при этом, что ты, мол, Михаил Александрович, по меньшей мере, миллионер, и денег у тебя куры не клюют.

Шолохов помог землячке, но в ответной записке намекнул: «Я, дорогая, такой же миллионер, как ты римский папа».

Жене сказал без обиняков, напрямую:

— Если мы не поможем, кто это сделает? Ты глянь, какая нужда кругом!

О том, что Шолохов, не пылал особой страстью к деньгам, свидетельствует и такой забавный случай, рассказанный мне донским писателем Михаилом Андриасовым, — «ротмистром», как его по-приятельски называл Михаил Александрович.

— За издание «Поднятой целины» Шолохову в номер ростовской гостиницы принесли гонорар. Редактор, имевший поручение выдать автору деньги, попросил Михаила Александровича расписаться в квитанции и, как положено в таких случаях, пересчитать купюры. Шолохов расписался и, посмотрев на сумку с ассигнациями, сказал:

— А деньги, сынок, высыпь вот сюда, на подоконник.

И как ни в чем не бывало продолжил беседу в дружеской компании.

* * *

В конце разговора с Марией Петровной выходим на крылечко. Помолчав, она бросает взгляд за ограду, где покоится прах Михаила Александровича, и дрогнувшим голосом говорит:

– Сам ушел, а меня оставил одну...

Что-то удивительно-нежное по отношению к этой седой женщине ворохнулось в моей душе... Говорят, когда над Доном опускаются сумерки, она каждый вечер приходит могиле своего любимого и незабвенного Миши. Плачет редко, может, оттого, что «казаки не плачут». Хотя молчать во сто крат тяжелее... Утешать ее, как я понял, не имеет смысла. Она давно постигла секреты жизни и смерти. Плакать супруге Шолохова не пристало еще и потому, что она всегда была сильной... Лишь иногда степной ветерок, прилетающий откуда-то издалека, – может быть, с верховьев Чира, – прикоснувшись духовитым холодком к ее лицу, почувствует на щеках горечь безутешных слез... У могилы Михаила Александровича – это ей доподлинно известно – она никогда не бывает одна. Они всегда вместе: он – ушедший и она (тогда... А.Г.) – живая, мужественная и сердечная, наша донская казачка. Встретив ее где-нибудь на хуторской улице, непременно назвал бы просто и уважительно – «тетя Маша». Эта естественная красота, свойственная людям глубоким и цельным, так приходилась к лицу жене Шолохова. Она очень похожа на Василису Ильиничну Мелехову – старую, мудрую казачку из «Тихого Дона», согревшую сердца миллионов читателей материнским теплом и нежностью к тому, кого больше всего любила на свете. Это ей, ближайшему другу, – за несколько минут до смерти, – поцеловал он потухающими губами верную и до конца преданную руку. Поцеловал, как единственное и, быть может, самое ценное своё богатство, остающееся на земле.

II

После войны в Красноярском числились две животноводческие фермы. На одной из них, молочно-товарной, в течение двух, от силы трех лет, работал бригадиром Александр Михайлович Баюков. Биография бывшего посланца партии, большевика-двадцатипятилетника, приглянулась Шолохову, и он впоследствии использовал ее при создании образа председателя гремяченского колхоза Семена Давыдова. В

«Поднятой целине» первопроходец колхозной жизни является посланцем Путиловского завода, но в реальности ни один прототип не имел к знаменитому питерскому предприятию никакого отношения. Андрей Плоткин был матросом Днепровской флотилии, а Баюков – тот и вообще до приезда в казачий край служил счетным работником в одной из московских сберегательных касс.

Коллективизация на Дону, как известно, шла туго. В очерке «По правобережью Дона» Шолохов показывает все сложности переломного периода социалистического переустройства в хуторах и станицах. Ни малейшего опыта в организации коллективных хозяйств ни у кого не было, нередко приходилось идти на ощупь, продираясь сквозь дебри невежества и вековой дремучести малограмотного казачества. Да и сама новая система хозяйствования вызывала протест, отчасти потому, что пришла она сверху, а не явилась порождением здравого смысла самих земледельцев и скотоводов. Словом, трудности были налицо. Для убедительности процитирую такой отрывок из названного очерка.

«В прошлом году в Черновском колхозе, где почти не осталось после гражданской войны мужчин, казачки, начавшие волынку, на уговоры секретаря окружкома бесстыдно ругались, орали, вводили в великий стыд секретаря-краснознаменца и бывшего комиссара одной из дивизий Первой Конной.

– У нас казаков нет! С нами спать некому, а ты приехал нас уговаривать сеять. Оставайся с нами, тогда и сеять поедем!»

Не легче приходилось единовеерцу бывшего комиссара – Андрею Плоткину. Описание бабьего бунта в «Поднятой целине» связано как раз с Плоткиным. Это его разъяренные лебязинские «бабочки» едва не разнесли на мелкие кусочки за то, что он распорядился выдать займы семенную «пашаничку» бедствующему колхозу из хутора Ярского.

Работая в 1930 -1932 гг. в Лебязьем председателем сельхозартели имени Буденного, он подружился с семьей Ильи Афанасьевича Чумакова, сметливого старика и крепкого хозяина. До последних дней жизни ветеран коллективизации на Дону поддерживал тесные связи с сыном бывшего колхозного кладовщика.

Жизнь в те годы, как известно, была наполнена неумной энергией и одновременно отличалась непредсказуемыми поворотами в судьбах людей. Не избежали передраг и Плоткин с Баюковым. Обоих снимали с должностей,

наказывали в партийном порядке, перебрасывали с одного хозяйства в другое: Плоткина, как сказали бы теперь, за излишнюю строгость, «за превышение власти», а Баюкова, наоборот, — за то, что, сдав государству в неурожайный год минимум зерна, позволял кое-что из хлебных «остальцов» выдавать колхозникам на трудодни. Я вспоминаю Александра Михайловича уже в конце его жизни, когда он руководил фермой у нас, в Красноярском. Жил тогда бывший председатель в колхозном доме прямо на МТФ с женой и дочерью-подростком. Добрейшей души человек, он, видя наше голодное детство, простецки говорил моей матери-дойрке: «Грипа, отожди ребятам творожку, пусть вместе с телятами пообедают».

Вообще, в отличие от Плоткина, Баюков производил впечатление человека веселого и, быть может, чуть-чуть странноватого. Конюх бывшего лебяжинского председателя Егор Иванович Мельников, вспоминая о Баюкове, рассказывал: «Едем мы с ним раз из Колундаевки... с заседания совета МТС. Ночь, месяц золотой — в полнеба. В Плешаковом логу — соловьи. Баюков попросил остановить лошадей, закурил. Слушая пенье птиц, раздумчиво произнес: «Эх, соловушки, если бы вас на совете пропесочили так, как меня, вряд ли бы вы так заливались...»

Любимейшим занятием Баюкова в Красноярском была рыбалка... Выходил он на берег Дона в экстравагантном, как сейчас говорят, виде: кирзовые сапоги, семейные трусы, а поверх всего — шинель. Прошагав размашисто мимо красноярского стойла, выходил на угол Зеленого мыса, что около известного нам Красного Яра, быстро раздевался и потом брёл к небольшому островку, робко шевелившему осокой у стрежня реки. Рыбу он ловил отменно, чем вызывал неизменное восхищение хуторян. В целом жилось Александру Михайловичу в придонском хуторе относительно благополучно. Однако в дальнейшем его судьба сложилась драматично. Умерла жена, да и годы брали свое... Он снова оказался в Лебяжьем, — теперь уже в качестве заведующего избой-читальней. Поселился в курене, где прежде располагалось правление колхоза... Все бы ничего, но не понравился чем-то старый большевик местной шпане. Нетрудно сейчас представить, о чем ему думалось в долгие часы одиночества, особенно сырыми осенними ночами. В сорок восьмом году, незадолго до смерти, Баюков говорил своим колхозникам: «Придет время — в магазинах будет вдоволь мануфактуры. Хлеб вам будут возить прямо из пекарен. А сейчас надо терпеть и хорошо работать». Что ж,

мечта старого председателя через какое-то время сбылась. А тогда больной, измученный жизнью, человек оставался один на один с отребьем: и непристойности в его адрес выкрикивали ради забавы, и гадили у порога, швыряли камни в окна... Однажды ночью, пытаясь поймать распоясавшихся недорослей, он бросился из комнаты на крыльцо и с разбегу упал на острые колья, расчетливо кем-то поставленные вместо вынутых из пола досок. Старик сильно поранил низ живота и был отправлен в больницу. В 1951 году он умер в Вёшенской.

* * *

Каждый раз, бывая на Дону, стараюсь хоть на один час попасть в родной Краснояровский. Теперь это уже совсем другой хутор, в котором живут голодно и бесприютно русские люди, переселенцы из Киргизии. И обочь с ними — пожилой мой земляк, отдавший почти всю свою жизнь русскому полю, Иван Павлович Агапов. Несколько лет назад, еще до приезда новоселов, бывший тракторист при встрече пошутил невесело: «Живу помещиком. Сейчас у меня в наследстве двенадцать пустых дворов». И действительно, в ту пору по супесному бугру, вытянувшему белесую кабаржину вдоль пойменного леса, разбежались двенадцать полуразвалившихся куреней и хат... Зрелище жуткое. Дикость, запустение... Буйные от обильных дождей заросли желтого коровяка достают до самых крыш. Но более всего угнетает тишина: она — какая-то неземная. А ведь совсем недавно жили в этих местах люди, — не герои, но и не из последних. Многие, в связи с «неперспективностью» хуторов, уехали в города, и нашли там свой последний приют. Старики — бывшие колхозники, люди, в основном, верующие, в последние дни жизни, наверняка, с тоской думали о том, что нет у них теперь родного уголка, куда после смерти изболевшаяся душа могла бы вернуться под родную крышу, испить у иконы поминальной воды и хоть как-то утешить сердце родных. Городская квартира — это не то, ее строили чужие люди, зачастую без тепла в руках. Создатели территориально-производственных управлений, разрабатывая стратегию обустройства села, ставя во главу угла экономические проблемы, почему-то напрочь забывали о том, что любой успех на земле зависит от состояния души человека. Известный постулат о том, что материя первична, а сознание вторично, справедлив лишь отчасти. Ведь когда речь заходит о перестройке самой материи, приоритет в такой постановке вопроса, безусловно, принадлежит

сознанию. Производя разного рода организационные преобразования в сельском хозяйстве, творцы новых, экономически более выгодных подходов к решению производственных проблем, лишили крестьянина чувства малой родины, породив в освободившемся пространстве его души — пустыню. По-моему, более страшного ощущения испытать не дано. Возникает резонный вопрос: «А есть ли выход из этой ситуации?» Безусловно, есть. Сейчас, как никогда, должна быть востребована инициатива по возрождению сел России, в том числе донских хуторов и станиц. Чего греха таить, в городах страны найдется немало желающих вернуться в родные места. Но вся беда заключается в том, что возвращаться, действительно, придется в пустыню. Ведь оголтелый волонтаризм Хрущёва оказался настолько долгоиграющим, что и нынешним поколениям наследников преобразований чудачка из Курской глубинки приходится всем миром отмазываться от сумасбродства власти. Но русского человека надо возвращать на землю. Я нисколько не сомневаюсь, что соловьи нашего Отечества от Калининграда до уссурийских далей каждую весну скучают по родному пахарю, бросившему землю на произвол судьбы. И когда к земле этой тянут жадные руки «земледельцы» из других регионов планеты, нам, россиянам, остается одно — ошетиливаться.

С прототипом деда Щукаря Шолохов, скорее всего, познакомился в Рубёжном, где жил брат Тимофея Ивановича Воробьева. Старик, бесспорно, понравился писателю, прежде всего, за умение видеть в жизни веселое, и неодолимую тягу ко всему новому, поскольку нищенская, бедняцкая доля ему до чертиков надоела.

Когда «Поднятая целина» с огромным успехом пошла по белу свету, Михаил Александрович подарил Воробьеву — по словам самого Щукаря — «костыль хвабричной выделки», а позже через Ростовскую обувную фабрику справил ему новые сапоги.

В конце 50-х годов к волоховскому пареньку Ивану Ушакову, жившему, как и другие ученики, в школьном интернате, прикатил на запряженных парой лошадей санях невысокий смуглолицый казачок в тулупе и валенках. Отдавая не слишком усидчивому земляку присланные из дому харчи, улыбочиво представился:

— Петро Воробьев.

И Ушаков с потаенной гордостью сообщил:

— Внук деда Щукаря.

Щукарев внук был ненамного старше пятиклассника Ваньки, но уже покуривал, молодецки сплевывая на февральский снег. На вопрос: «Почему ты не учишься?» Весело отвечал: «Да ну вас... с вашей учебой. Я лучше с коньми буду».

Шолохова я впервые увидел весной 1957 года. Футбольная команда школы-интерната, где я тогда учился, отправлялась на тренировку в Базки, благо что местный стадион, до этого залитый половодьем, уже просох и нам, семиклассникам, вскоре предстояло крупное сражение с ровесниками из средней школы.

Мы быстро заняли места на пароме, однако паромщик с отправкой явно не торопился. Учительница физкультуры было заволновалась, но через несколько минут все выяснилось: открытый «газик», в котором сидел Шолохов, медленно въехал на середину парома, и тут же катер, взбурунив мутную воду, резво потащил наше «плавучее средство» к невидимой базковской пристани. Полая вода шла на убыль, но Дон, как молодой жеребчик, поигрывая стрежнем, плавно нес людей и машину мимо раскидистых, в желтых сережках, верб и светлокорых тополей. Шолохов курил, слегка откинувшись на заднем сиденье. Около его ног лежали две пятнистые охотничьи собаки. Сузив глаза в щелки, они добродушно посматривали на любопытствующих попутчиков. Худощавый мужик, вероятнее всего, из приезжих, в вышитой крестиком белой рубашке и шляпе, не к месту начал травить байки про деда Щукаря, пытаясь привлечь внимание Шолохова. Чувствовалось, что подобное панибратство Михаилу Александровичу не нравится, — он отвернулся. Шолохов тогда показался мне удивительно красивым: моложавый, в офицерской рубашке навыпуск, галифе, заправленных в хромовые сапоги, полотняной фуражке, с шиком надетой на ладно посаженную голову, он вызывал у нас, бывалой безотцовщины, чувство преклонения и доброй зависти.

А два года спустя этот же самый «джип» догнал полуторку, на которой мне пришлось возвращаться из Вёшенской к себе в Краснояровский. День стоял жаркий. Полуденное солнце будто заблудилось в зените. Михаил Александрович, в темной шляпе, так же сидел на заднем сиденье. Казалось, он дремал. На загорелом лице ярко, подобно степному ковылю, белели усы. А вокруг... «Степь без конца и края. Древние

курганы в голубой дымке. Черный орел в небе. Мягкий шелест стелющейся под ветром травы... Маленьким и затерянным в этих огромных просторах почувствовал себя Давыдов, тоскливо оглядывая томящую своей бесконечностью степь...» В те годы Шолохов работал над второй книгой романа «Поднятая целина».

Одним из памятных событий моей жизни на Дону стал август 1959 года. В конце месяца в гости к Шолохову заехал на несколько дней отдохнувший в Крыму Н. С. Хрущев. По этому случаю в Вёшенскую съехалось множество казаков из хуторов и станиц района, а также делегации из соседних с Ростовской областей – Сталинградской и Воронежской. С приветственным словом на митинге выступил Шолохов. Гостеприимный хозяин был краток, но говорил искренне, тепло. Хрущев тоже оказался человеком сердечным. Вот как он начал тогда свою речь:

– Дорогие товарищи и друзья! Мы встречаемся с вами сегодня в станице Вёшенской, куда я прибыл по приглашению вашего земляка – моего большого друга, замечательного советского писателя Михаила Александровича Шолохова.

День, как случается в эту пору на Дону, выдался солнечным и даже знойным. Хрущев откашлялся и продолжил:

– Хочется горячо поблагодарить Михаила Александровича за это приглашение, а вас – за сердечную встречу.

И, поглядывая на лучистое солнышко, что нещадно палило станичную площадь, добавил:

– Учитывая тепло ваших сердец и щедрость донского солнца, позвольте мне воспользоваться соломенной крышей.

И тут же водрузил на лысую голову соломенную шляпу. Остроумие уроженца курской Калиновки донцам понравилось. Стоявший впереди нас, красноярских пацанов, рослый тракторист с хутора Еринского аж присел от восторга:

– Ну, гребни его золу, разгребни. Гля, как стелет, а?

И, сорвав с головы соседа новенькую восьмиклинку, ударил ею о песок, подняв столб пыли, и трубным голосом заорал:

– Да здравствует наша советская правительства!

Площадь ахнула и взорвалась аплодисментами.

Все время пребывания Хрущева в Вёшенской было заполнено до предела. Он успел повстречаться с лучшими

людьми Дона, погулять по станичным улицам.

Вспоминаю и такой случай... Накануне нового учебного года какие-то заботы привели меня на перекресток, ведущий к понтонному мосту, исключительно быстро построенному саперами в честь визита высокого гостя... Неожиданно из-за поворота появилась вереница направлявшихся к переправе машин. Я очутился бок о бок с «Волгой», в которой сидел Хрущёв. Не знаю по какой причине, но он обратил на меня внимание, и теперь, по прошествии многих лет, хочу сказать честно, что находиться пред всевидящим государственным оком – ощущение такое, что не приведи Господи.

Позже, когда я об этом рассказал матери, она глубокомысленно заметила:

– Зря он у тебя не спросил об оценке, какая будет по тригонометрии в первой четверти.

И пришлось мне в ознаменование приезда Никиты Сергеевича в Вёшенскую всерьёз задуматься о качественных показателях своего будущего аттестата зрелости.

Лето 1961 года оказалось последним летом моего жительства на Дону. Заканчивалась учеба в средней школе. Помню, накануне выпускного вечера бродили мы, – «три мушкетёра», – Алексей Дериглазов, Петр Дударев и я, по Вёшкам в размышлениях, где достать цветов для наших дорогих учителей. Денег было маловато, да и цель они преследовали иную... И вот в такой момент мы встретились около Дома культуры с общим знакомым, Мишкой Шаргановым, окончившим школу годом раньше нас. Тут необходимо сказать, что братьев Шаргановых – старшего Владимира и младшего Михаила – их станичные ровесники уважали за веселый нрав и отзывчивую душу. «Шарган» – так в обиходе звали Мишку – поздоровался и, услышав о нашей нужде, повертев головой с модной стрижкой, лаконично заметил:

– Днем такие вопросы не решаю, а вечером – я к вам надбегу.

Действительно, после того, как июньское солнце село не торопясь где-то за окраиной хутора Пигарёвки, («пригородом Вёшек», как шутят местные остроловы), Шарган явился в общежитие школы. И вот мы небольшой ватагой отправились на поиски цветов. Наверное, часа три водил нас Мишка по глухим станичным переулкам, предлагая наилучшие выходы из дьявольского тупика. А

затем как-то незаметно привел всю компанию к зеленому забору, из-за которого соблазнительно, дразняще свешивались лиловые, в крупных каплях ночной росы, кисти сирени.

Намек нашего попутчика мы поняли сразу, но смущало то обстоятельство, что сад-то был — шолоховский. Да и забор выглядел внушительно. Однако высокой ограда показалась только нам троим. Что же касается Шаргана, то он твердо знал, что в Вёшках еще не построили такого забора, который мог бы его сдержать. Спустя несколько минут мы с Мишкой возвратились к напарникам, держа в руках лилово-голубые букеты. Деловито смахнув с брюк-дудочек въедливую песчаную пыль и чешуйки сухой краски, Шарган с подначкой спросил Дударева:

— Петь, а что если бы сейчас из-за угла вышел Михаил Александрович и спросил: «Откуда у вас, ребята, эта сирень?» Как бы ты ему ответил?

Новоиспеченный выпускник, переминаясь с ноги на ногу, пролепетал:

— Дык, Михал Александрыч, это я не для себе. Это я для Надежды Гавриливны.

Все дружно рассмеялись.

Надежда Гавриловна Евстратова, учительница химии, «прижаливала» Петю из Антиповки, может, оттого, что среди ребят нашего класса он был самым низкорослым.

Вот уже без малого тридцать лет бываю я в Вёшках наездами. В станице у меня много самых близких друзей, хотя с каждым годом их круг редет. Что поделаешь: такова жизнь — другой не бывает.

Живя в Воронеже, я обнаружил в старинном русском городе немало людей, чьи судьбы так или иначе соприкасались с Шолоховым. Один из них, Петр Иванович Власов, двоюродный брат жены писателя, часто гостил в Вёшенской. Вместе с Михаилом Александровичем нередко ездил на охоту и рыбалку. Правда, сам Власов более всего любил собирать грибы, которые умел отлично солить и мариновать. Шолохов по-достоинству оценил «талант» своего воронежского родственника. На одной из книг, подаренных Власову, есть такой автограф: «Знаменитому грибнику-опёночнику Петру Ивановичу Власову. М. Шолохов». Вообще в скромной воронежской квартире Петра Ивановича все проникнуто искренним чувством к писателю. На самом видном месте — портрет Марии Петровны и

Михаила Александровича с теплой надписью Шолохова. Много редких изданий «Тихого Дона», «Поднятой целины» и других книг писателя.

Как-то за чашкой чая мы разговорились с Петром Ивановичем, и я высказал хозяину квартиры свое пожелание встретиться с Михаилом Александровичем. Власов обещал посодействовать. Было это накануне 75-летия писателя. И в мае 80-го года я отправился в Вёшки. Юбилейная суета, множество гостей отнимали у Шолохова много времени, приходилось терпеливо ждать. Тем более что в Вёшках Власов снова заверил меня в возможности такой встречи.

Через два дня, как было условлено, я утром пришел к знакомой двери в зеленом заборе, а спустя некоторое время появился Петр Иванович. Был он хмур: «Плохи, Александр Александрович, дела у твоего земляка. Опять тяжелый приступ... Ты уж, извини, как-нибудь в другой раз». Но другого раза не последовало... И все же чудо произошло. В конце лета Власов вернулся из Вёшенской и привез мне воистину королевский подарок: четырехтомник «Тихого Дона» с автографом Шолохова.

После смерти Михаила Александровича Власов затосковал. Стал часто прихварывать. Но пока были силы, увлечения грибами не оставлял. Однажды он вновь пригласил меня в гости и мы долго «дегустировали» его разносолы. Много говорили о Вёшках, о Шолохове. А когда через год я его проведать снова, то увидел, что «знаменитый грибник-опеночник» заметно сдал. Тем не менее, с каким-то одержимым удовольствием он рассказывал о том, как ловко Мария Петровна «взналыгивала» сазанов на Хопре: «Иной раз даже половчее самого Михаила Александровича»...

Несколько месяцев спустя Власов скончался. Я был на его похоронах, скромных и немногочисленных. Казалось, что Петр Иванович не умер, а ушел из жизни не торопясь, как теплый обложной дождь летней ночью... Ушел из жизни человек, любивший Шолохова любовью брата: преданно и самозабвенно.

* * *

Когда устанавливали надгробный камень на могилу Шолохова, один из казаков горестно сказал: «Да не кладите на него камень, как же ему там тяжело будет». Но нелегче жилось писателю и на этом свете. Даже трудно себе представить, сколько мучительных страданий выпало на его долю. Клевета, испытанное оружие интриганов, а то и,

сказать попросту, негодяев, ядовито жалила писателя на протяжении всей жизни. Шолохова яростно обвиняли в плагиате, беззастенчиво подсовывая общественному мнению «белые пятна» в истории создания «Тихого Дона». Но после того как были найдены рукописи первых двух книг, споры об авторстве великого романа XX века сами по себе отпали. А ниспровергатели классика по собственной воле стали клеветниками России. В этой связи уместно будет вспомнить откровение Шолохова в одном из писем Горькому: «Сейчас кончаю третью книгу, а работе такая обстановка не способствует. У меня руки отваливаются, и становится до смерти нехорошо. За какое лихо на меня в третий раз ополчаются братья-писатели? Ведь это же все идет из литературных кругов?»

Безусловно, ветер дул оттуда. Как писала в 6-м номере (1989 г.) журнала «Вопросы литературы» А. Марченко: «Слухи множатся... Похоже, настала пора заняться всерьез щекотливой проблемой — гласно и официально».

Остановившись на этой фразе, теперь уже, спустя двадцать с лишним лет, подумал: «Сколько же пришлось сломать копий, чтобы доказать пакостникам от литературы абсурдность их обвинений?». И вдвойне странным выглядит то обстоятельство, что критик делала вид, будто впервые слышит о клевете в адрес Шолохова, хотя в собрании сочинений писателя все «любезности» подобного рода давно опубликованы. И не пора ли «надменным потомкам» остановить свои постыдные усилия по дискредитации и ниспровержению великого соотечественника? Шолохов — гений, в этом вся загадка его творчества. Для кого-то он человек двоюродный, а его землякам и вообще честным людям, понимающим толк в справедливости, — кровно свой, единомышленник; по меткому сравнению А. Калинина — «незакатное солнце России». А солнце, как известно, трогать немытыми руками опасно. Даже тем, кто на поломанном колесе въехал в круг VIP-персон мировой литературы.

Сегодня Шолохова нет рядом с нами. Но есть миллионы почитателей его Слова, которые не дали светлое имя писателя «в трату». Это по-нашему, это по-русски.

Хутор Краснояровский — Вёшенская — Воронеж.
1989 - 2011 гг.

Тим СКОРЕНКО

ПОЭТ: ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫЖИВАНИЮ

Мы восхищаемся поэтами прошлого. Мы говорим «Золотой век» и «Серебряный век», вспоминаем имена Пушкина и Лермонтова, Гумилёва и Цветаевой. Мы восхищаемся прекрасными поэтами советской эпохи — Вознесенским, Рождественским, Шпаликовым. Ещё у нас есть Бродский, всегда стоявший — в определённой мере — в стороне от других.

Но так или иначе, перечисленные имена уходят в прошлое. Ни в коем случае не устаревают, но... ведь они больше никогда и ничего не напишут, к сожалению. Поэты уносят с собой свои эпохи, на их место заступают поэты настоящего. Хотя нет, так тоже сказать нельзя: современные поэты встают в один ряд с поэтами прежних лет, они не замещают, но дополняют картину русской литературы, сформированную предыдущими поколениями.

Вот здесь и стоит задать себе главный вопрос: кто? Кого из современных поэтов потомки будут читать с придыханием, с восторгом, с выражением, как мы читаем Тютчева и Фета? Кого история вознесёт на пьедестал, а кого оставит на задворках? К сожалению, мы можем лишь предполагать. Объективного анализа провести не получится в любом случае, поэтому следующие ниже рассуждения имеют исключительно субъективный характер. Возможно, я ошибаюсь. Возможно, через сто лет в ящиках старого стола найдут листочки со стихами никому сегодня не известного поэта — и сделают его иконой нашего поколения. Помните Эмили Дикинсон? Только близкие друзья знали, что она пишет стихи, но после её смерти в 1886 году нашли тысячи текстов — и сегодня Дикинсон является одним из классиков американской литературы. Бывает и так. Мы знаем только то, что ничего не знаем.

ПОПАСТЬ В ПАУТИНУ

Бумажная литература умирает. В этом нет никаких сомнений: объективные числа, характеризующие продажи книг, говорят сами за себя. Тому есть множество причин. У

нас этому способствует в том числе и сетевое пиратство, но за границей пиратам живётся не так легко, поэтому там бумагу «убивают» легальные электронные издательства. В США электронная книга может получить ISBN и считаться официальной публикацией, может выдвигаться на престижные литературные премии и попасть в портфолио автора. К сожалению, в России о подобном пока приходится только мечтать. У нас сложилась странная ситуация: с одной стороны, «книгой» считается только то, что на бумаге, с другой — никто эти самые книги толком и не покупает (утрируя, конечно).

Но всё сказанное выше имеет отношение скорее к прозе, нежели к поэзии. С поэзией дела обстоят значительно хуже, поскольку стихи в просвещённом XXI веке — значительно менее востребованный жанр. Крупные издательства стараются не связываться с поэзией. Издаются лишь сборники авторов, которые прославили своё имя на других нивах. Выходят стихи Дмитрия Быкова, пожалуй, самого молодого из классиков современности (в том, что его история вознесёт на пьедестал, я не сомневаюсь, поскольку он, во-первых, гениален, а во-вторых, невероятно трудолюбив). Выходят стихи Андрея Белянина, известного писателя-фантаста (как поэт он мне нравится значительно больше). Выходят стихи Константина Арбенина, известного музыканта, экс-лидера группы «Зимовье зверей». Есть ещё пара имён более или менее молодых людей, но их крайне мало.

Но у этой медали есть ещё одна сторона. Не аверс, не реверс и даже не ребро. Просто одна из граней, условная. Эта грань называется «интернет». Сеть несёт в себе не только зло, уничтожающее бумажную книгу. Сеть в последние годы стала площадкой, плацдармом, средством и местом для свободного выражения мыслей. Ты написал? Ты создал? Ты хочешь поделиться и показать свою работу людям? К твоим услугам многочисленные сайты, блоги, социальные сети. Все шансы для того, чтобы прославиться.

При столь широких возможностях количество графоманов растёт как на дрожжах. Возможность лёгкого самоутверждения привлекает и заставляет творить даже тех, кто при ином раскладе никогда не взял бы в руки перо. Сетевых поэтов не сотни и не тысячи. Их безо всякого преувеличения миллионы. Соответственно, происходит процесс естественного отбора. Чтобы вырваться из этой массы и обрести имя, нужно и в самом деле быть талантливым поэтом и — главное — идти в ногу со временем, делать то, что интересно и нужно современному поколению.

БЛОЖЕ МОЙ

Пожалуй, самой значительно поэтической площадкой нашего времени стали блоги. Сразу приходят в голову два имени — Аля Кудряшева (izubr) и Вера Полозкова (mantrabox, ранее известна как vero4ka). Две девушки, ещё в середине 2000-х покорившие блогосферу своим талантом вкупе с молодостью. Вера, будучи невероятно социально активной, сегодня ездит с концертами, выступает на телевидении, у неё вышло три сборника стихотворений, причём хорошими тиражами в крупных издательствах. Аля более спокойна, у неё вышел один сборник, она иногда появляется на публике, но значительно меньше Веры.

Они очень разные. Элементы взаимовлияния есть, но они минимальны — в рамках взаимовлияния представителей одного поколения. Алины стихи идут изнутри, она подчиняет жёсткой поэтической форме собственные эмоции; Вера скорее анализирует окружающий мир, причём чаще всего в ударных или безразмерных формах. Главное, что обе поэтессы великолепно — от природы — владеют Словом.

В принципе, это два самых громких имени, вышедших из сети «в реал». Есть менее громкие, но оттого не менее замечательные. Мария Хамзина (mousss), Дана Сидерос (llytnik), Екатерина Михайлова (kaitana), Анна Ривелотэ (hrivelote). Они тоже выпустили книги и выступают с чтениями стихотворений. Они тоже вышли в какой-то мере из сети. Они тоже владеют Словом.

Вообще, всех вышеперечисленных отличает одно: их знают по имени. Если когда-то говорили «стихи Изюбря», то есть называли поэтессу по сетевому никнейму, то теперь говорят «стихи Али Кудряшевой» — и это серьёзный показатель. Поэтов знают по имени и в лицо — и это прекрасно.

Кстати, возникает вопрос: где мужчины? Как ни странно, в рамках данного поколения мужчин довольно-таки мало. Чаще всего сетевые таланты мужского пола проявляются в более солидном возрасте. Примером тому может служить Александр Габриэль (rhyme_addict), начавший серьёзно писать стихи уже за сорок. Стихи, кстати, прекрасные, что подтверждают и его выходящие книги, и концерты, которые он, правда, даёт в США, где живёт уже много лет. Но, может быть, и до наших мест доберётся.

Кто-то скажет: ай-ай-ай, вы забыли такого-то и такого-то. На самом деле, я много кого забыл или сознательно упустил.

В сети довольно много сильных авторов, а я кратко «прошёлся» лишь по сегменту блогов. Напоследок подытожу, какие показатели можно считать значимыми для оценки известности поэта в данном разрезе:

- поэта знают по имени, а не только по сетевому нику;
- у поэта вышел один или несколько сборников не за собственные деньги, в приличном издательстве, и эти сборники можно купить хотя бы в крупных магазинах или без проблем заказать в сети;
- поэт появляется «в реале» с выступлениями, лекциями, квартирниками.

Вырваться из сети не так и просто. Получается только у самых способных. Кстати, значительный вклад в дело развития поэзии, выходящей из сети в реал, сделал прекрасный писатель и издатель Александр Житинский, добрая ему память. В 1990-е он первым издал Башлачёва, в 2000-е – Кудряшеву. Он всегда делал именно то, что нужно.

ЧТО ТАКОЕ АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ

Есть и ещё один плацдарм, иногда позволяющий поэту «взлететь». Это авторская песня или близкие к ней жанры – ролевая музыка, бард-рок. В этой сфере проводится огромное количество фестивалей, концертов, конкурсов, и почти везде поэзия востребована столь же серьёзно, сколь и музыка. Человек поющий и пишущий превращается в человека читающего. Я в течение длительного времени имел к бардовской среде непосредственное отношение, организовывал концерты и фестивали, ездил по различным городам с выступлениями, пел – а в какой-то момент начал и читать. Публика хорошо воспринимает стихи как прослойку между песнями. А некоторые, наоборот, воспринимают песни как прослойку между стихами. Все довольны.

Правда, из авторской песни выходят чаще всего уже в более солидном возрасте. Самые молодые из поэтов (то есть пишущих не только песни, но и стихи), которых можно назвать более или менее известными вне среды, это, видимо, Павел Фахртдинов и Никита Дорофеев. Если сеть оккупировали женщины, то бардовскую среду чаще предпочитают мужчины (хотя, стоп-стоп, тут стоит упомянуть, например, Елену Касьян). Успех Павла начался с многочисленных побед на фестивалях (в том числе на легендарной «Груше»), вылился в многосторонний талант, регулярные концерты, где Павел и поёт, и читает. Никита

Дорофеев менее известен, но при этом его стихи весьма хороши, даже порой прекрасны. И талантом он не уступает.

В авторской песне появляется много талантливых поэтов, но есть одно «но». Выгоднее петь, чем читать. Выгоднее писать песни, чем стихи. Потому что песня гораздо легче воспринимается, легче захватывает публику, а при современных методах звукозаписи точно так же остаётся в веках (не будем, кстати, забывать, что при Пушкине звукозаписи не было вообще, а при Гумилёве она была в зачаточном качественном состоянии — это тоже играло значительную роль).

Чуть раньше из авторской песни (точнее, бард-рока, конечно) вышли упомянутый уже Константин Арбенин, Александр Щербина, Сергей Калугин. Сильные, самобытные авторы, которых лет эдак 200 назад боготворила бы вся страна (точнее, её интеллигентная прослойка). Конечно, они известны и сегодня, и они очень хороши — но уже не так, как когда «пусты лагерь, а залы, где слушают люди стихи, переполнены» (цитата из Евтушенко).

ТРЕТИЙ ПУТЬ

Наконец, третий путь в поэзию — из «смежной специальности». Дмитрий Быков прославился сначала как журналист, Андрей Белянин и Леонид Каганов — как писатели-фантасты, и так далее. Варианта «издал книгу стихотворений и стал известен как поэт» сегодня не существует как такового, поскольку мизерные тиражи, отсутствие рекламы, неналаженная система распространения — вот факторы, отличающие тех, кто решается на издание поэзии. За редчайшим исключением. Люди покупают не стихи, а имя — когда вообще покупают. Законы рынка, что поделаешь. Сначала нужно создать себе имя — на другой почве, в сети, в музыке, в журналистике, а затем издавать книги.

Тот же Леонид Каганов умел писать отличные стихи всегда. Смешные, издевательские, острые пафлеты, за которые всё те же 200 лет назад отправляли в Сибирь. И писал — понемногу, когда хотелось или когда заказывали. Прославился он в первую очередь как писатель, во вторую — как блоггер и человек неуёмной фантазии, создавший в интернете целый ряд развлекательных проектов. В какой-то момент газета F5 предложила Леониду писать заказные стихотворения на острую тему — по одному в неделю. Дело пошло. Потом было первое живое выступление с этими

стихотворениями (организовал его ваш покорный слуга), второе, третье — и пошло-поехало.

Гораздо более серьезный и, честно скажем, сильный поэт Дмитрий Быков в начале девяностых занимался и новеллизацией фильмов, и различного рода журналистской работой, и сборнички его стихов иногда понемножку появлялись...пока своим собственным трудом и головой он не создал славу, достаточную для того, чтобы книги начали издаваться крупными издательствами и появляться в книжных магазинах.

В общем и целом, стихи представляются в данном контексте вагонами, которые тянет за собой какой-то локомотив. И на его борту написаны вовсе не поэтические строки.

НУЖНА ЛИ ТЕХНИКА?

Теперь поговорим о технике. Поэзия, конечно, развивается. Сегодня поэт начала XIX века вряд ли смог бы издать хотя бы одно своё стихотворение. Потому что изменились времена, нравы, темы и даже сама техника стихосложения.

На правах рекламы: в 1914 году в издательстве «Вольф» вышла великолепная книга Николая Николаевича Шульговского «Теория и практика поэтического творчества. Технические начала стихосложения». Лучшего учебника по стихосложению нет, не было и вряд ли когда-нибудь будет. Шульговский, будучи довольно средним поэтом, оказался прекрасным аналитиком и учителем. Обладая живым, современным умом, он невероятно интересно осветил все аспекты стихосложения, снабдил книгу множеством примеров. Шульговский, в первую очередь, был непредвзят: он уделит внимание даже комбинаторике, которая тогда только зарождалась и нередко не считалась поэзией; про одни только сонеты он написал две главы, рассмотрев десятки разновидностей; и главное, Шульговский написал одну истину, которую многие не понимают. Позволю себе привести цитату из вступления к его книге:

«Никто не стал бы считать себя живописцем или музыкантом, не зная техники этих искусств. Впрочем, без неё в них никто ничего не мог бы сделать. Человек с недвигающимися пальцами не сумел бы сыграть ни одной музыкальной пьесы, точно так же лицо, незнакомое с приёмами архитектуры, не смогло бы построить хотя бы один этаж художественного здания. С поэзией, по первому

взгляду, дело обстоит как будто бы иначе. Средства выразить свои мысли и чувства на бумаге доступны каждому. Стоит придать известный размер своей речи и нанизать несколько рифм, и стихотворение как будто бы и готово, и неопытному автору уже кажется верхом совершенства. Если бы это было так просто, то тогда появлялось бы гораздо более настоящих и великих поэтов, чем это есть на самом деле. [...] Поэзия, повторяем, одно из самых трудных искусств. Помимо внутренней художественности, она требует ещё и внешней, определённой и трудной техники. Соединить слова легко, но очень трудно соединить их красиво, дать прекрасные звуковые сочетания...»

К сожалению, львиная доля поэтов, выкладывающих свои произведения в сеть, этого не понимают. Основным оправданием их погрешностей является утверждение, что стихи должны идти от души, а техника не столь и важна. На самом деле, техника важна.

Итак, какие технические элементы появились в поэзии последних лет?

НОВЫЕ МЕТОДЫ ПОЭЗИИ

Одним из основных трендов в современной поэзии является методика написания «в строчку». Подобный способ изложения эпизодически всплывал ещё в середине XX века, но настоящим новатором в этой области стал Дмитрий Быков. При написании в строку он блестяще соблюдает и размеры, и рифмы, но при этом не разделяет стихотворения на отдельные строки; строфы же если обозначаются, то лишь абзацами. Например, цитата из «Десятой баллады»: «И подходят они ко мне в духоте барака, в тесноте и вони, и гомоне блатоты. Посмотри вокруг, они говорят, рубака, — посмотри, говорят, понюхай, все это ты! Сократись, сократик, — теперь ты спорить не будешь. И добро б тебя одного — а ведь весь народ! Полюбуйся на дело рук своих, душегубец, духовидец, свободолобец, козлобород!»

Эту методику переняли многие сетевые поэты, широкое распространение в блогах она получила после того, как сетевая слава пришла к Але Кудряшевой: молодое поколение перенимало «строчку» скорее у неё, нежели у Быкова. И снова цитата: «Мама на даче, ключ на столе, завтрак можно не делать. Скоро каникулы, восемь лет, в августе будет девять. В августе девять, семь на часах, небо легко и плоско, солнце оставило в волосах выцветшие полоски».

В принципе, в «строчник» можно превратить любое

стихотворение — так кажется. Слей строки — и готово. На самом деле, всё не так просто. Строка придаёт стихотворению совершенно другой окрас, она превращает его в монолог, заставляет чтеца использовать совершенно другие интонации и порой даже придаёт стихотворению иные смыслы. Многие люди, цитируя строчные стихотворения различных поэтов, намеренно разбивают их на строфы под предлогом «мол, так проще и привычнее». Это в корне неправильно. Автор знает, что делает, когда использует этот приём.

Пожалуй, остальные технические элементы были придуманы ранее. Расцвет технического совершенствования поэзии пришёлся на конец XIX — начало XX века, поэтому учебник Шульговского охватил львиную долю аспектов этой науки. И даже только-только зарождающиеся в те времена у нас (пришедшие, в частности, из американской поэзии) верлибры, которые долгое время — в какой-то мере справедливо — относились к разделу прозы, а не поэзии.

Вторая ступенька технических новшеств пришла в 1960-80-е годы. Множество новаторских элементов привнёс тот же Бродский. Также в те годы активно развивалась комбинаторная поэзия (самый лучший, занимательный и интересный учебник по комбинаторике — это книга Татьяны Бонч-Осмоловской «Введение в литературу формальных ограничений»). Но комбинаторика — это настолько странный и стоящий особняком жанр поэзии, что он требует отдельной статьи. Кстати, раз уж упомянули комбинаторику, стоит отметить, что наиболее заметный молодой поэт-комбинатор на сегодняшний день — Иван Чудасов из Астрахани.

Я ни в коей мере не хочу сказать, что в поэзии уже придумано всё. Как показывает практика, всегда есть куда стремиться и что изобретать. Но с точки зрения создания новых технических приёмов сегодня царит определённое затишье.

ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСЫ

В принципе, помимо упомянутых путей (интернет, авторская песня, сторонние заслуги) существует и ещё одна ниша для выхода молодого поэта в люди — это различные конкурсы поэзии, как сетевые, так и происходящие в реальном мире. К сожалению, ситуация с ними в какой-то мере плачевна. С одной стороны, проводится их огромное количество, и некоторые весьма престижны (Волошинский

конкурс, например, или премия «Дебют» в номинации «Поэзия» и так далее). Но много ли мы знаем поэтов, которые одержали на подобном конкурсе победу и благодаря этому создали себе имя? К сожалению, нет. Конкурс позволяет самоутвердиться, получить энное количество читателей (не очень большое) и хорошо провести время в компании близких по интересам людей. Но слава с победами на конкурсах обычно не приходит.

Кстати, в прозе дела обстоят наоборот. Например, прекрасный роман Мариам Петросян «Дом, в котором...» прогремел в том числе и по причине получения приза зрительских симпатий престижной премии «Большая книга». Он бы и так пробился, но премия оказалась не лишним трамплином. Таких примеров довольно много.

В поэзии всё иначе во многом от того, что крутятся здесь значительно менее значительные деньги. Если создать поэтический конкурс, призом за который будет полмиллиона долларов и издание толстой книги стихов тиражом 50 000, то его победитель автоматически станет известным, почитаемым и уважаемым поэтом. Всё просто. Это называется «реклама».

ПОДЫТОЖИВАЯ

В итоге можно сказать следующее: возможность «прорваться» есть. Это сложно. Нужно иметь не только поэтический талант, но и редкостную пробивную способность, нужно уметь и любить работать, договариваться с людьми, нужно принимать участие в концертах и фестивалях — и так далее, и так далее. В этом есть минусы. Иногда сторонняя деятельность занимает столько времени и сил, что на саму поэзию не остаётся ни желаний, ни времени, ни возможностей (каюсь, это мой случай). Но, с другой стороны, иначе — никак. Конечно, хорошо бы встретить на своём пути человека, которому понравится ваша деятельность настолько, что он вложит в вас деньги. Но такое происходит с единицами.

А молодые и талантливые есть. Возможно, через пару веков наше время будут называть Платиновым (в худшем случае — Бронзовым) веком русской поэзии, стихи Кудряшевой, Полозковой, Дорофеева и Михайловой будут проходить в виртуальных школах, а их портреты будут висеть в электронных галереях. Но сказать сейчас что-то определённое на этот счёт никоим образом невозможно.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Кого из современных поэтов стоит читать? Список приведен вне зависимости от возраста, плюс к тому он далеко не полон. Все эти поэты появились на слуху (или просто появились) в последние полтора десятилетия: Константин Арбенин, Андрей Белянин, Юлия Боброва, Дмитрий Быков, Александр Габриэль, Никита Дорофеев, Леонид Каганов, Яшка Казанова, Елена Касьян, Аля Кудряшева, Екатерина Михайлова, Елена Никитаева, Вера Полозкова, Анна Ривелотэ, Ольга Родионова, Анна Русс, Дана Сидерос, Тим Скоренко, Павел Фахртдинов, Мария Хамзина, Александр Щербина, Дмитрий Якимов.

Авторы журнала

Биографические справки

БЕЛОВ Виктор Иванович родился в 1938 году в Воронеже. Окончил Борисоглебский пединститут. Историк и филолог. Автор многих книг стихов и прозы. Член Союза писателей России. Лауреат Всероссийской литературной премии «Прохоровское поле». Живёт в г. Белгороде.

ГОЛУБЕВ Александр Александрович родился в 1943 году на Дону в хуторе Краснояровском Вёшенского района Ростовской области. Поэт и эссеист. Окончил Воронежский педагогический институт и Литературный институт имени А.М. Горького. С 1980 года — сотрудник журнала «Подъём». Работал в должности главного редактора, директора-главного редактора. В настоящее время — заместитель главного редактора. Автор шестнадцати поэтических сборников. Член Союза писателей России. Лауреат Всероссийской литературной премии имени М.А. Шолохова. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Живет в г. Воронеже.

ГУЛАКОВ Павел Захарович родился 5 марта 1947 г. в с. Узлов Орловской обл. Окончил Харьковский институт железнодорожного транспорта. Редактор газеты «Слово ветерана». Автор шести книг. Лауреат региональной премии имени Б. Слуцкого. Живет в г. Харькове

КОТЬКАЛО Сергей Иванович родился 4 августа 1960 г. в городе Смела Черкасской области. Окончил Политехнический институт. Работал на строительстве атомных и тепловых электростанций СССР. Закончил Литературный институт имени А.М. Горького — мастерская писателя-фронтовика Михаила Лобанова. Прозаик, публицист. Главный редактор Информационно-издательской продюсерской компании «Ихтиос», журнала «Новая книга России», православного обозрения «Русское воскресение» и информационного портала «Русский мир». Создатель книжных серий «Славянский мир», «Национальная безопасность», «Памятники церковной письменности». Автор книг «Лепет обманутого восторга», «Дурман», «Крик журавля». Сопредседатель Союза писателей России и Духовно-просветительского центра имени святого праведного Феодора Ушакова. Член бюро Президиума Всемирного Русского Народного Собора. Лауреат премии им. А.С.Суворина. Живёт в г. Москве.

ОМЕЛЬЧЕНКО Василий Михайлович родился в Украине в 1931 году. Детство, юность и молодость прошли в России, в Сибири. Служил в частях «Осназ». Был сержантом. Работал грузчиком, радистом, гидрологом, журналистом. Член союза писателей Украины и России. Написал более трех десятков книг: романов, повестей, рассказов и очерков. Лауреат Международного литературного конкурса «Вечная память», посвященного 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. Лауреат республиканской премии имени В.Г.Короленко.

Живет в г. Харькове.

ПИЛЮГИН Юрий Викторович родился в 1958 г. в г. Артемовске Луганской обл. В 1980 г. поступил в Литературный институт, ушел с 4 курса. Работал шофером, прессовщиком-вулканизаторщиком, монтажником-высотником шахтером, сварщиком, грузчиком и художником-оформителем, на металлургическом комбинате и строительном заводе, в издательстве и на бинтомотальной фабрике. Пишет стихи и прозу. Лауреат городского литературного конкурса и конкурса журналистов еженедельника «2000».

Живет в г. Алчевске, Луганской обл.

РОСКОВ Александр Александрович (1954—2011) родился в д. Диковская Архангельской обл. в крестьянской семье. Окончил Литинститут (1993). Автор нескольких книг стихов. Стихи переведены на швед., норвеж., фин. языки. Член СП СССР (1989), СЖ РФ (1993). Лауреат премии изд-ва «Молодая гвардия» (1988), им. Н. М. Рубцова (1995).

Жил в г. Архангельске.

СКОРЕНКО Тим родился 28 февраля 1983 года в г. Минске. Окончил Белорусский национальный технический университет. Поэт, автор-исполнитель, писатель. С 2003 года активный участник музыкального и поэтического движения в Белоруссии, России и Украине; лауреат многих фестивалей авторской песни и поэзии. С 2009 г. работает редактором в научно-популярном журнале.

Живет в г. Москве.

СЛАВЯНИН Виктор Петрович родился 19 февраля 1943 г. в хуторе Пинчуки Васильковского р-на Киевской обл. Окончил Киевский политехнический институт. Работал в институтах Академии наук УССР. С 1976 г. в Москве. Окончил Высшие литературные курсы Литературного института им. А.М. Горького. Первая публикация: в газете «Літературна Україна» в 1967 г. – перевод стихов Т. Шевченко на русский язык. Работал литературным редактором в редакциях литературных журналов и издательств Москвы. («Молодая гвардия», «Столица», «Современник»). Публикации в журналах СССР, России, Украины, Молдавии, США, Австралии. Автор шести книг прозы.

Член Союза писателей России.

живет в г. Москве.

ТРАХИМЁНОК Сергей Александрович родился 7 февраля 1950 года в городе Карасук Новосибирской обл. Окончил факультет правоведения Свердловского юридического института (1977). Доктор юридических наук, профессор.

Директор НИИ теории и практики государственного управления Академии управления при Президенте Республики Беларусь (2007). Член союзов писателей России и Беларуси. Автор многих книг, сценариев для кино и видеофильмов.

Живет в г. Минске.

ЧЕРНУХИН Игорь Андреевич родился 8 февраля 1930 г. в селе Томаровка Яковлевского района Белгородской области. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Член Союза писателей России. Автор 18 книг, выходящих в Москве, Воронеже, Белгороде, Харькове. Стихи переведены на белорусский, литовский, болгарский и немецкий языки. В 2000 г. одна из улиц родного села названа именем поэта. Почётный гражданин Яковлевского района (2010). За вклад в развитие культуры региона поэт награждён медалью «За заслуги перед землёй Белгородской» I степени. Заслуженный работник культуры РФ. Лауреат литературных премий Белгородского комсомола и «Прохоровское поле».

Живёт в г. Белгороде.

ЭРАСТОВ Евгений Ростиславович родился в 1963 году. Окончил Горьковский медицинский институт и Литературный институт им. А. М. Горького. Доктор медицинских наук. Автор пяти поэтических и четырех прозаических книг. Лауреат премии Нижнего Новгорода (2008), победитель международного творческого конкурса «Рождественская звезда» (2011). Член Союза писателей России.

Живет в г. Нижний Новгород.

Литературно-художественный журнал

СЛАВЯНИН

№8-9

Гл. редактор Л.И. Мачулин

Корректор *А.Н. Балабанова*
Художественный редактор *В.В. Вербицкий*
Вёрстка *А.И. Забродин*

49512 - подписной индекс нашего издания. Спрашивайте на почте!

Подписано к печати 20.12.2011. Формат 70x108 1/16. Бумага офсет.
Печать офсет. Гарнитура *PragmaticaCondCTT*. Усл. печ. л. 27,30. Уч.-изд. л.
27,70. Изд. №1. Зак. №____. Тир. 500 экз.

Учредитель: 000 «Институт Восточно-славянской цивилизации».
61012, Харьков, ул. Полтавский шлях, 9, кв.1, 1А.

Адрес редакции для писем:
а/я 9127, Харьков, 61057, Украина.
Тел./факс (057) 705-27-56
e-mail: editor01@list.ru

Издатель: Мачулин Л.И.
61057, г. Харьков-57, ул. Рымарская, 17, оф.14.
Свидетельство о госрегистрации: серия ХК №125 от 24.11.2004 г.
ISSN 2221-9331